

Валентин
РАСПУТИН



УРОКИ
ФРАНЦУЗСКОГО

Повести и рассказы



РЕКОМЕНДОВАНО
ЛУЧШИМИ
УЧИТЕЛЯМИ

*Классика
для
школьников*

Классика для школьников

Валентин Распутин

**Уроки французского.
Повести и рассказы**

«Издательство АСТ»

1970, 1973

УДК 821.161.1-31
ББК 84(Рос=Рус)6-44

Распутин В. Г.

Уроки французского. Повести и рассказы / В. Г. Распутин —
«Издательство АСТ», 1970, 1973 — (Классика для школьников)

ISBN 978-5-17-120698-7

Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) – русский писатель, публицист, общественный деятель. После окончания начальной школы в своём родном селе Аталанка Иркутской области будущий писатель вынужден был переехать в районный центр Усть-Уда, чтобы продолжать учёбу в средней школе. Это был тяжёлый период для маленького мальчика: жизнь у чужих людей, полуголодное существование, невозможность одеваться и питаться как положено, ссоры с местной ребятнёй. Всё, что описывается в рассказе «Уроки французского» (1973), можно считать реальными событиями, ведь именно такой путь прошёл сам Валентин Распутин. Герои повести «Последний срок» (1970) стоят у своеобразной жизненной черты, у которой рано или поздно оказывается человек. С чем подойдёт каждый к этой черте? Нравственность и безнравственность, эгоизм и бескорыстие, чёрствость и неравнодушие – вот основные темы произведений Валентина Распутина. В книгу также вошли рассказы «Век живи, век люби», «Я хотел спросить у Лёшки», «Мама куда-то ушла» и другие.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-120698-7

© Распутин В. Г., 1970, 1973
© Издательство АСТ, 1970, 1973

Содержание

Последний срок	7
1	7
2	13
3	21
4	33
5	37
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Валентин Распутин

Уроки французского. Повести и рассказы

© Распутин В. Г., насл., 2020

© Салтыков М.М., ил., 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2020

Последний срок

Повесть

1

Старуха Анна лежала на узкой железной кровати возле русской печки и дожидалась смерти, время для которой вроде приспело: старухе было под восемьдесят. Она долго пересиливала себя и держалась на ногах, но три года назад, оставшись совсем без силёнок, сдалась и слегла. Летом ей будто легчало, и она выползала во двор, грелась на солнышке, а то и переходила с роздыхом через улицу к старухе Миронихе, но к осени, перед снегом, последняя мочь оставляла её, и она по утрам не в состоянии была даже вынести за собой горшок, доставшийся ей от внучки Нинки. А после того как старуха два или три раза подряд завалилась у крыльца, ей и вовсе приказали не подниматься, и вся её жизнь осталась в том, чтобы сесть, посидеть, опустив на пол ноги, а потом опять лечь и лежать.

За свою жизнь старуха рожала много, но теперь в живых у неё осталось только пятеро. Получилось так оттого, что сначала к ним в семью, как хорёк в курятник, повадилась ходить смерть, потом началась война. Но пятеро сохранились: три дочери и два сына. Одна дочь жила в районе, другая в городе, а третья и совсем далеко – в Киеве. Старший сын с Севера, где он оставался после армии, тоже перебрался в город, а у младшего, у Михаила, который один из всех не уехал из деревни, старуха и доживала свой век, стараясь не досаждать его семье своей старостью.

В этот раз всё шло к тому, что старухе не перезимовать. Уже с лета, как только оно пошло на убыль, старуха стала обмирать, и только уколы фельдшерицы, за которой бегала Нинка, доставали её с того света. Приходя в себя, она тоненько, не своим голосом, стонала, из глаз её выдавливались слёзы, и она причитала:

– Сколь раз я вам говорила: не трогайте меня, дайте мне самой на покой удти. Я бы тепери где-е была, если бы не ваша фельдшерица. – И учила Нинку: – Ты не бегай боле за ей, не бегай. Скажет тебе мамка бежать, а ты спрячься в баню, подожди, а потом скажи: нету её дома. Я тебе за это конфетку дам – сладкую такую.

В начале сентября на старуху навалилась другая напасть: её стал одолевать сон. Она уже не пила, не ела, а только спала. Тронут её – откроет глаза, глянет мутно, ничего не видя перед собой, и опять заснёт. А трогали её часто – чтобы знать: жива, не жива. Высохла и ближе к концу вся пожелтела – покойник покойником, только что дыхание не вышло.

Когда окончательно стало ясно, что старуха не сегодня-завтра отойдёт, Михаил пошёл на почту и отбил брату и сёстрам телеграммы – чтобы приезжали. После этого растолкал старуху, предупредил:

– Подожди, мать, скоро наши приедут. Повидаться надо.

Первой, уже на другое утро, приехала старшая старухина дочь Варвара. Ей добираться из района было недалеко, всего-то пятьдесят километров, и для этого ей хватило попутной машины. Варвара открыла ворота, никого не увидела во дворе и сразу, как включила себя, заголосила:

– Матушка ты моя-а-а!

Михаил выскочил на крыльцо:

– Погоди ты! Живая она, спит. Не кричи хоть на улице, а то соберёшь сейчас всю деревню.

Варвара, не глядя на него, прошла в избу, у старухиной кровати тяжело стукнулась на колени и, мотая головой, снова взвыла:

– Матушка ты моя-а-а!

Старуха не пробудилась, ни одна кровинка не выступила на её лице. Михаил пошлёпал старуху по провалившимся щекам, и только тогда её глаза изнутри задвигались, зашевелились, пытаясь открыться, и не смогли.

– Мать, – тормошил Михаил. – Варвара приехала, погляди.

– Матушка, – старалась Варвара. – Это я, твоя старшая. Я к тебе повидаться приехала, а ты на меня и не смотришь. Матушка-а-а!

Глаза у старухи ещё покачались-покачались, словно чашечки весов, и остановились, сомкнулись. Варвара поднялась и отошла плакать к столу – где удобнее. Она рыдала долго, пристукивая головой о стол, зашла в слезах и уже никак не могла остановиться. Возле неё ходила пятилетняя Нинка, пригибалась, чтобы заглянуть, почему Варварины слёзы не бегут на пол; Нинку прогоняли, но она, хитря, снова прокрадывалась и лезла к столу.

Вечером на счастливо подгадавшем пароходе, который ходит только два раза в неделю, приехали городские – Илья и Люся. Михаил встретил их на пристани и повёл в дом, где все они родились и выросли. Шли молча: Люся и Илья по узкому и шаткому деревянному тротуарчику, Михаил рядом, по комкам засохшей грязи. Деревенские здоровались с Люсей и Ильёй, но не задерживали разговорами, проходили и с интересом оглядывались. Из окон на приехавших тарасились старухи и ребятишки, старухи крестились.

Варвара при виде брата и сестры не утерпела:

– Матушка-то наша... Матушка-а-а!

– погоди ты, – опять остановил её Михаил. – Успеешь.

Сошлись все у старухиной кровати – и Надя, Михайлова жена, тут же, и Нинка. Старуха лежала недвижимо и стыло – то ли в самом конце жизни, то ли в самом начале смерти. Варвара ахнула:

– Не жива.

На неё никто не цыкнул, все испуганно зашевелились. Люся торопливо поднесла ладонь к открытому рту старухи и не почувствовала дыхания.

– Зеркало, – вспомнила она. – Дайте зеркало.

Надя кинулась к столу, на ходу вытирая о подол осколок зеркала, подала его Люсе; та торопливо опустила осколок к бескровным старухиным губам и с минуту подержала. Зеркальце чуть запотело.

– Жива, – с облегчением выдохнула она. – Жива наша мама.

Варвара опять спохватилась плакать, будто услышала всё не так, Люся тоже опустила слезу и отошла. Зеркальце попало к Нинке. Она принялась на него дуть, заглядывая, что с ним после этого будет, но ничего интересного для себя не дождалась и, улучив момент, сунула зеркальце ко старухиному рту, как только что делала Люся. Михаил увидел, при всех отшлёпал Нинку и вытолкнул из комнаты.

Варвара вздохнула:

– Ах, матушка ты наша, матушка.

Надя спросила, куда подавать на стол – сюда, в комнату, или в кухню. Решили, что лучше в кухню – чтобы не тревожить мать. Михаил принёс бутылку водки и бутылку портвейна, водку разлил себе и Илье, портвейн сестрам и жене.

– Татьяна наша сегодня уж не приедет, – сказал он. – Ждать не будем.

– Сегодня не на чем больше, ага, – согласился Илья. – Если вчера получила телеграмму, сегодня на самолёт, в городе пересадка. Может, сейчас в районе сидит, а машины на ночь не идут – ага.

– Или в городе.

– Завтра будет.

– Завтра обязательно.

– Если завтра, то успеет.

Михаил на правах хозяина первый поднял рюмку:

– Давайте. За встречу надо.

– А чокаться-то можно ли? – испугалась Варвара.

– Можно, можно, мы не на поминках.

– Не говорите так.

– А теперь говори не говори...

– Давно мы вот так все вместе не сидели, – с грустью сказала вдруг Люся. – Татьяны только нет. Приедет Татьяна, и будто никто никуда не уезжал. Мы ведь раньше всегда за этим столом и собирались, в комнате только для гостей накрывали. Я даже на своём месте сижу. А Варвара не на своём. И ты, Илья, тоже.

– Где уж там – не уезжали! – стал обижаться Михаил. – Уехали, и совсем. Одна Варвара заглянет, когда картошки или ещё чего надо. А вас будто и на свете нету.

– Варваре тут рядом.

– А вам прямо из Москвы ехать, – поддела Варвара. – День на пароходе – и тут. Уж хоть бы не говорили, раз за родню нас не признаёте. Городские стали, была охота вам с деревенскими заться!

– Ты, Варвара, не имеешь никакого права так говорить, – разволновалась Люся. – При чём здесь городские, деревенские? Ты думай, о чём говоришь.

– Ага, у Варвары, конечно, нету права говорить. Варвара не человек. Чё с ней разговаривать? Так, пустое место. Не сестра своим сёстрам, братьевьям. А если спросить тебя: сколько ты дома до сегодняшней поры не была? Варвара не человек, а Варвара матушку нашу проведывала, в год по сколько раз проведывала, хоть у Варвары не твоя семья, побольше. А теперь Варвара и виноватая сделалась.

– Давно не была – чего там! – поддержал Варвару Михаил. – У нас ещё Нинка не родилась, приезжала. А Илья в последний раз был – когда с Севера переехал. Ещё Нинку Надя от груди отнимала. Помнишь, горчицей соски мазали, ты смеялся.

Илья помнил, кивнул.

– Не могла, вот и не приезжала, – обиженно сказала Люся.

– Захотела, смогла бы, – не поверила Варвара.

– Что значит смогла бы, если я говорю, не могла? У меня такое здоровье, что если в отпуск не подлечиться, потом весь год будешь по больницам бегать.

– У Егорки всегда отговорки.

– При чём здесь какие-то Егорки и отговорки?

– А так, ни при чём. Вам уж и слова сказать нельзя. Важные стали.

– Ладно вам, – сказал Михаил. – Поехали ещё по одной. Чего она будет киснуть?

– Поди, хватит, – предупредила Варвара. – Вам, мужикам, только бы напиться. Матушка при смерти лежит, а они тут разгулялись. Не вздумайте ещё песни петь.

– Песни никто и не собирался петь. А выпить можно. Мы сами знаем, когда можно, когда нельзя – не маленькие.

– Ой, да с вами только свяжись.

Вот так они сидели и разговаривали за длинным деревянным столом, сколоченным их покойником отцом лет пятьдесят назад. Все они, пожив отдельно, теперь мало походили друг на друга. Посмотреть на Варвару, она по виду годилась им в матери, и хотя только в прошлом году ей пошёл шестой десяток, смотрелась она много хуже этого и уже сама походила на старуху, да ещё, как никто в родове, была толстой и небыстрой. Одно она переняла от матери: рожала тоже много, одного за другим, но к той поре, когда она стала рожать, ребятишек научились оберегать от смерти, а войны на них ещё не было – поэтому все они находились в целостности и сохранности, только один парень сидел в тюрьме. Радости в своих ребятах Варвара видела

мало: она мучилась и скандалила с ними, пока они росли, мучится и скандалит сейчас, когда выросли. Из-за них раньше своих годов и состарилась.

За Варварой у старухи шёл Илья, потом Люся, Михаил и последней была Татьяна, которую ждали из Киева.

Илью из-за малого роста до армии звали Ильёй-коротким, и хоть длинного Ильи в деревне не было, прозвище это так и пристало к нему. Оттого что больше десяти лет он прожил на Севере, волосы у него сильно повывезли, голова, как яйцо, оголилась и в хорошую погоду блестела, будто надраенная. Там, на Севере, он и женился, да не совсем удачно, без поправки: брал за себя бабу нормальную, по росту, а пожили, она раздалась в полтора Ильи и от этого осмелела – даже до деревни доходили слухи, что Илья от неё терпит немало.

Люсе тоже уже больше сорока, но ей ни за что столько не дашь: она не по-здешнему моложавая, с чистым и гладким, как на фотокарточке, лицом и одета не как попало. Люся уехала из деревни сразу после войны и за столько лет научилась, конечно, у городских за собой доглядывать. Да и то сказать: какие у неё ещё заботы без ребятишек? А ребятишек Люсе Бог не дал.

У Михаила – не то что у Ильи – волосы по-цыгански густые и кудрявые, борода и та курчавится, завивается в колечки. Лицом он тоже чёрный, но чернота эта не столько от родовой, сколько от солнца да от мороза – летом у реки на погрузке, зимой в лесу на валке – круглый год он на открытом воздухе.

Вот так они сидели и разговаривали за длинным кухонным столом, чтобы не мешать умирающей матери, ради которой впервые за много лет собрались в родном доме. Не хватало только Татьяны, самой младшей. У Михаила с Ильёй ещё было что выпить, женщины отставили от себя рюмки, но не вставали – сидели, размякнув от встречи и разговоров, от всего, что выпало им в этот день, боясь того, что выпадет завтра.

– Надо было мне сразу и Володке телеграмму отправить, – говорил Михаил. – Теперь бы уж здесь сидел, возле нас. Охота на него посмотреть, какой стал.

– Он где? – спросил Илья.

– В армии. Второй год уже доходит. Летом обещался приехать в отпуск, да, видать, проштрафился – не пустили. Пишет, что кто-то там из его отделения с поста ушёл, а его, как командира, наказали. Может, и сам что натворил, там это недолго. Как думаешь, отпустят его, нет, если к бабке?

– Должны отпустить.

– Надо было вчера сразу и отбить. Дурака сваял. Думаю, как написать, чтоб не прискреблись? Внук всё же, не сын.

– Так бы и написал: бабка плохая, срочно приезжай, – посоветовала Варвара.

Надя вся натянулась от потерянного счастья уже сейчас видеть перед собой сына.

– Я ему это же говорила, так он разве будет слушать?

– Подождите уж немножко, – сказала Люся.

– Лучше подождать, ага. А то можно только всё испортить. Потом уж сразу: так и так. На похороны должны отпустить.

– Ой-ёй-ёшеньки, – вздохнула Варвара. – Не думали не гадали. Одна матушка на всех, и вот.

– Сколько тебе их надо? – хмыкнул Илья.

Варвара обиделась:

– Ты прямо как не родной! Всё с подковыркой. Всё хочешь из меня дуру сделать. А я не дурней тебя, можешь не подковыривать.

– Я и не думаю, что дурней. Чего это ты взъелась?

– Ага, не думаешь.

Люся тихонько спросила у Нади:

– У вас швейная машинка есть?

– Есть, только не знаю, шьёт ли она. Давно уж не открывала.

– Сегодня стала смотреть, а у меня, как назло, ни одного чёрного платья, – объяснила Люся. – Побежала в магазин, материал купила, а шить, конечно, некогда было, только скроила. Придётся здесь.

– Не успеете сегодня.

– Успею, я быстро шью. Потом, когда лягут, тут, в кухне, и устроюсь.

– Ладно, я достану, посмотрите.

Перед тем как укладываться, сошлись опять возле матери, чтобы знать, с чем ложиться. Люся попробовала найти пульс и кое-как нащупала его – чуть живой. Михаил не утерпел и подёргал мать за плечо, и тогда вдруг услышали, как откуда-то изнутри донёсся стон не стон, храп не храп, будто и не материн вовсе, чужой, будто, занятая своим делом, огрызнулась смерть. На Михаила зашикали, но от этого звука сделалось всем не по себе, даже Нинка полезла к Наде, присмирела.

– Хоть бы до белого дня дожила, – всхлипнула Варвара и умолкла.

Стали укладываться. Изба была большая, но по-деревенски перегороджена всего на две половины: в одной лежала старуха, в другой спала Михаилова семья. Надя себе и Михаилу постелила на полу, а свою кровать отдала Люсе. Для Варвары нашлась раскладушка, которую поставили на старухиной половине, чтобы Варвара присматривала за матерью. Там же собирались положить на пол Илью, но он захотел спать в бане, баня у Михаила была чистая, без сажи и прелого духа, и стояла в ограде. Илье дали доху и фуфайки под низ, а наверх ватное одеяло, и он ушёл, наказав, чтобы в случае чего будили.

Электричество у старухи выключили, зажгли лампу. Решили держать свет всю ночь, только убавили фитиль.

Надя достала машинку, поставила её на тот же стол, за которым сидели, и Люся сначала испробовала её ход на тряпке. Машинка шила хорошо.

– Ложись, – сказала Люся Наде. – Усни, пока можно. Неизвестно ещё, какая сегодня будет ночь.

Надя ушла. Её о чём-то спросил Михаил, она что-то ответила – все шёпотом.

Застрекотала машинка, и Люся сама испугалась, выпустила ручку – до того громким, как стрельба, показался её стук. На него тут же пришлёпала напуганная Варвара. Увидев Люсю, чуть остыла:

– Слава тебе господи! Думаю, кто тут такой. Прямо всю затрясло. Чё это тебе приспичило?

Люся не ответила, шила.

– На похороны, чё ли, чёрное-то приготавлиешь?

– Не понимаю: неужели об этом обязательно надо спрашивать?

– А чё я такого сказала?

– Ничего.

– Шей, я тебе ничё не говорю. Я вот посижу возле тебя маленько и уйду. Мешать не буду.

Варвара придвинула табуретку, пристроилась сбоку. Она так и не разделась, только отцепила чулки, и они стянутой кожей болтались ниже колен.

Где-то на реке отдаленно и сдавленно гуднул пароход, потом ещё и ещё. Варвара подняла голову, прислушиваясь, от напряжения сморщилась.

– Чё это он кричит?

– Не знаю. Сигналы кому-то подаёт.

– Другого места не нашёл, где подавать. Прямо всю перевернуло.

Она ещё посидела и нехотя поднялась:

– Пойду. Ты долго здесь будешь?

– Пока не сошью.

– Не надо было нам сегодня ложиться, ох не надо было, – покачала головой Варвара. – Сидели бы, разговаривали – всё веселей. Чует моё сердце – не к добру это.

Она ушла, но скоро воротилась, пугая Люсю, прислонилась к стенке.

– Что? – спросила Люся.

– Или уж мне кажется, или правда. Иди посмотри. Иди.

Люся не поверила, но сказать, что не верит, не смогла, пошла к матери. Она держала её руку, но слышала за своей спиной только тяжёлое, со свистом, дыхание Варвары: и-а, и-а, и-а... Пришлось отогнать её, и лишь тогда, и то не сразу, до Люси донеслись, угадываясь, будто за много-много километров, совсем тихие, теряющиеся толчки. Ей показалось, что с прошлого раза они стали ещё слабей и шли не подряд, а через один.

– Ты ложись, – жалея сестру, сказала Люся. – Я, пока шью, буду смотреть, а потом разбуду тебя.

– Да разве я усну? – по-ребячьи захныкала Варвара. – Илья хитрый какой, ушёл из избы, а тут как хошь. Разве мне теперь до сна? Всё буду думать, как да что. Лучше я возле тебя посижу.

– Сиди, если хочешь.

– Я тихонько буду.

Она опять пристроилась рядом, вздыхая, трогала материал, смотрела, как Люся шьёт.

– Ты это платье после с собой обратно повезёшь, нет? – спросила она.

– А что?

– Я к тому, что, если не повезёшь, я могла бы взять.

– Зачем оно тебе? Оно же на тебя не полезет.

– Я не себе. У меня девка уж с тебя вымахала. На неё как раз будет.

– А что, твоей девке носить нечего?

– Оно, можно сказать, и нечего. Есть у неё платишки, да уж все поизносились. А девке, известно, пофорсить охота.

– В чёрном-то какой же форс?

– Она у меня не привередливая. В дождь когда выйти. В цветастом не пойдёшь.

Люся пообещала:

– Уезжать буду, отдам.

– Я так и скажу: от тётки, – обрадовалась Варвара.

– Говори как хочешь.

Когда замолчали и Люся остановила машинку, стало слышно, как кто-то храпит на Михайловой половине. Варвара насторожилась:

– Кто бы это? – Потом, когда храп окреп, рассердилась: – Бессовестный какой. Нашёл время. Прямо ни стыда, ни совести у людей. Сын родной называется. – Она умолкла и вдруг жалостно попросила: – Пойдём ещё раз посмотрим. Я одна боюсь.

Старуха была всё так же: жива и не жива. Всё умерло в ней, и только сердце, разогнавшись за долгую жизнь, продолжало шевелиться. Но видно было: совсем-совсем мало осталось ему держаться. Может, только до утра.

Пока Люся шила, Варвара так и не легла. И то потом Люсе пришлось положить её на свою кровать, а самой идти на старухину половину – иначе Варвара всё равно не дала бы ей уснуть.

2

В свой черед засветилось утро, стало проясняться, но ещё до солнца с реки нанесло такого густого и непроглядного тумана, что всё в нём утонуло, потерялось. Утробно кричали по деревне коровы, горланили петухи, коротко и приглушённо, будто рыба плещет в воде, доносились людские звуки – всё в белой, морозящей зге, в которой только себя и видать. Светало теперь и без того поздно, а тут ещё этот туман украл утро, заставил тыкаться наугад.

Первой в старухиной избе поднялась Надя. До недавней поры её постоянно будила, услышав корову, свекровь, и Надя, если она даже не спала, всё равно начинала утро только после того, как её позовёт из своей кровати старуха. Вот и сейчас она встала не сразу, а по привычке подождала старухино голоса, хоть и знала, что его не будет. Его и не было, зато, надсаживаясь, кричала недоеная корова, и Наде пришлось подняться. Всё время помня о старухе и боясь узнать, умерла она или не умерла, Надя неслышно оделась и крадучись вышла из избы, в сенях сняла с гвоздя подойник.

Следом за ней тут же поднялась привыкшая рано вставать Варвара. Она увидела, что Нади нет, а все остальные спят, и кряду раз пять громко и тяжело вздохнула, оканчивая вздохи протяжным стоном, чтобы разбудить Михаила, который спал на полу. Но он даже не пошевелился. Тогда Варвара вздохнула для себя и сама не заметила, что вздохнула; ей стало страшновато в доме, где всех живых будто заговорили сном. Стараясь кому-то не выдать себя, она тихонько, с опаской, прошла ко второй половине, где лежала старуха, и в дверях остановилась. Дверей, которые можно открывать и закрывать, в избе, кроме входных, не было, а был только дверной проём – в нём Варвара и встала, боязливо заглядывая в полутемную комнату. Старухино лица она не увидела, оно было загорожено спинкой кровати, но что-то – живое или уж мёртвое – находилось под одеялом, а пройти вперёд, поглядеть Варвара не осмелилась и подалась обратно, думая, что сначала надо сходить на двор, чтобы не бегать после, когда будет не до того.

С улицы Варвара и Надя воротились вместе; Надя принялась в кухне процеживать через марлю молоко, Варвара топталась тут же. На столе по-прежнему стояла машинка, оставшаяся после Люси, и Надя шёпотом спросила:

– Сшила она вчера, нет?

– Сшила, – так же шёпотом ответила Варвара. – По мелочи только кой-чего не успела. – И не выдержала больше, взмолилась: – Пойдём разбудим её. Прямо не могу.

– Сейчас. Молоко вынесу.

Как привязанная, Варвара пошла за Надей в сени, потом ещё раз, потому что одна банка осталась, а Варваре прихватить её было не в ум, так и моталась туда-обратно ни с чем. Наконец Надя освободилась, вытерла о тряпку руки и первая зашла на старухину половину.

Люся спала, и было видно, что она спит, про старуху сказать это никто бы не взялся. Надя взглянула на свекровь и скорей отвела глаза, а Варвара и посмотреть испугалась, стала теревить Люсю. Люся проснулась сразу и сразу вскочила, раскладушка от её толчка отъехала в сторону.

– Что? – спрашивала Люся. – Что?

Варвара приготовилась плакать:

– Не знаю. Сама не знаю. Ты погляди.

Приходя в себя, Люся приладила руками волосы, надела халат, лежавший рядом на табуретке, и подошла к матери. Уже научившись распознавать жизнь, она подняла старухину руку и тут же уронила её, отшатнулась: старуха вдруг тонко и жалобно простонала и опять застыла. Варвара запричитала:

– Матушка ты моя, матушка-а! Да открой же ты свои глазыньки-и!

Прибежал в кальсонах Михаил, спросонья не понял.

– Отмаялась? Ох, мать, мать... Надо телеграмму Володьке отбить.

– Ты что?! – остановила его Надя. – Ты почему такой-то?

Люся, нащупав у матери пульс, облегчённо сказала:

– Жива.

– Живая?! – Михаил повернулся к Варваре, вскипел: – Какую холеру ты тогда здесь воешь, как при покойнике? Иди на улицу – Нинку ещё разбудишь! Завела свою гармонь.

– Тише! – потребовала Люся. – Идите отсюда все.

Сама она ещё до еды, пока Надя жарила картошку, села заматывать на новом платье петли и пришивать пуговицы, которые тоже привезла с собой из города.

Варвара со слезами пошла в баню, растолкала Илью:

– Живая наша матушка, живая.

Он заворчал:

– Живая – так зачем будишь?

– Сказать тебе хотела, обрадовать.

– Выспался, тогда и сказала бы. А то в рань такую.

– Да уж не рано. Это туман.

Туман держался долго, до одиннадцатого часа, пока не нашлась какая-то сила, которая подняла его вверх. Сразу ударило солнце, ещё ядрёное, яркое с лета, и вся местность повеселела, радостно натянулась. Пошёл сентябрь, но осенью ещё и не пахло, даже картофельная ботва в огородах была зелёной, а в лесу только кое-где виднелись коричневые подпалыны, будто прихватило солнцем в жаркий день.

В последние годы лето и осень как бы поменялись местами: в июне, в июле льют дожди, а потом до самого Покрова стоит красное ведро, которое и хорошо, что ведро, да плохо, что не в своё время. Вот и гадай теперь бабы, когда копать картошку: по старым срокам оно вроде бы и пора, и охота, пока стоит погода, дать картошке как следует налиться – какой там летом был налив, когда она, как рыба, плавала в воде. Если подождать, вдруг опять зарядит ненастье – попробуй её потом из грязи выколуывать. И хочется, и колется, никто не знает, где найдёшь, где потеряешь. Так же и с сенокосом: один свалил траву по старинке и сгноил её всю под дождём, другой пропьянствовал, не вышел, как собирался, и выгадал. Погода и та стала путаться, как выжившая из ума старуха, забывать, что за чем идёт. Люди говорят, что это от морей, которых понаделали чуть не на каждой реке.

Надя изжарила свежую, только что подкопанную картошку и к ней в глубокой чашке поставила солёные рыжики, при виде которых Люся ахнула:

– Рыжики! Самые настоящие рыжики! Я уж забыла, что они ещё на свете есть – сто лет не ела. Даже не верится.

– Рыжики – это ага, – причмокнул Илья. – Это вам не что-нибудь. Вот если бы к рыжикам да ещё что-нибудь – это ага!

– Чего ж ты их вчера-то не поставила? – упрекнул Михаил Надю. – К выпивке оно в самый раз бы было. А так это только переводить их.

Надя, покрасневшая, обрадованная тем, что угодила гостям, объясняла:

– Я вчера и хотела достать, да думаю, не усолели, я ведь их недавно совсем и поставила. А утром полезла, стала пробовать – вроде ничего. Думаю, дай достану, может, кому в охотку придутся. Кушайте, если нравятся.

– Там ещё-то у тебя остались?

– Немножко есть. Собирать-то никак и некому. Люди таскают, каждый день вижу, а у меня всё руки не доходят, то одно, то другое. В это лето всего два раза и сбегала, и то где поближе.

– У нас Татьяна раньше любила рыжики собирать, – вспомнила Люся. – Все места знала. Я с ней как-то пошла, она ещё совсем девчонкой была, а не успела я оглянуться, у неё уже

полное ведро. Спрашиваю: «Ты где их взяла?» – «Здесь». – «Почему они тебе попадаются, а мне нет?» – «Не знаю». Я говорю: «Ты их, наверное, заранее нарвала и где-нибудь спрятала, чтобы мне доказать». Она обиделась, ушла от меня, Так, поодиночке, и домой вернулись, она с полным ведром, а у меня только-только дно прикрыло.

– А она до конца никогда не выбирала, – объяснил Михаил. – Если маленький – оставит, а на другой день придёт, он уже подрос. Все помнила. Она и меня с собой таскала. Мне что: скорей бы нарвать, что попадёт, да домой. А она увидит, если я маленький сорвал, – ну на меня! Один раз разодрались в лесу. Я сам-то больше любил подосиновики собирать – быстрей, они всё больше гнёздами растут.

– Лучше всех у нас Илья грибы собирал, – засмеялась Люся. – Набьёт в ведро травы, а сверху положит несколько грибов, будто ведро полное.

– Было, ага, – с удовольствием признался Илья.

– А помните, как мама всех нас отправляла рвать дикий лук за Верхнюю речку? Там какое-то болото было, а лук рос на кочках. Все вымокнем, вымажемся, пока нарвём, – даже смотреть смешно. Мешки сложим на сухом месте и прыгаем с кочки на кочку. И ещё соревновались, кто больше нарвёт, даже воровали друг у друга. А за чесноком плавали на остров, там же, напротив Верхней речки...

– На Еловик, – подсказал Михаил.

– На Еловик, да. Там ещё косили для колхоза, вся деревня туда переезжала во время сенокоса. Помню, как я гребла: жарко, пауки жалят, сено лезет в волосы, под одежду...

– Пауты, поди, а не пауки, – буркнула Варвара. – Пауки паутину по углам плетут, а не жалят.

– Может, и пауты. Всё равно у них какое-то другое название, это здесь так зовут. А для себя мы косили на другом острове... сейчас вспомню, как он называется. Тоже деревянное такое название.

– Лиственничник.

– Да, Лиственничник. А сколько смородины было на нём! – кусты лежат на земле от ягоды. Ешь, ешь, потом даже язык болит, все зубы отобьёшь. Крупная такая смородина, вкусная. Час – и полное ведро. Там и теперь её, наверное, много.

– Не-е-ет, что вы! – махнула рукой Надя. – Нету. Кустов и тех, считай, не осталось. Как леспромхоз стал, всё унесли. Так только, поесть когда, и то ходишь, ходишь...

– Ой, как жалко!

– А сколько было синей ягоды на вышке! – тоже нету. Скот вытоптал, и люди совсем не жалеют.

– Что ж вы это так?

– Кто их знает! Хватают, будто в последний раз. С кустами попало – с кустами, с листьями – с листьями унесут.

– Ну, рыжики-то, говорите, есть? – допытывалась Люся.

– Рыжики в этом году есть. Люди таскают.

– Надо хоть за рыжиками сходить.

– По рыжики-то сходить – можно было, поди, без телеграммы сюда приехать, – кольнула Варвара.

Люсю это разозлило:

– С тобой, Варвара, совершенно невозможно стало разговаривать. Что ни скажи, всё не так, всё не по тебе, нельзя же только потому, что ты старше, так относиться к каждому нашему слову. Что это такое, в конце концов?..

– Да никто ничё и не говорит, я не знаю, чё ты на меня взбеленилась.

– Я же ещё и взбеленилась!

– Я, ли чё ли?

– Да вы кушайте, – стала просить Надя. – А то картошка совсем остынет. Холодная она не вкусная. И рыжики хвалили, хвалили, а сами не берёте. Кушайте всё, а то теперь до обеда.

– Татьяна должна подъехать. Соберёмся.

– К обеду должна, ага.

– Если из района, может, и раньше.

– Поди, в заезжей или у чужих людей ночевала, а к нам не пошла, побрезговала, – заранее пожаловалась Варвара.

– А у неё адрес-то ваш есть?

– Я откуда знаю, есть или нет? Она нам не пишет.

– Как же она тогда вас найдёт?

– Поди, раньше-то бывала, помнит.

– Нет, Татьяна, если она в районе ночевала, обязательно зайдёт, – сказал Михаил. – Татьяна у нас простая.

– Была простая, а теперь ещё надо поглядеть какая, – стояла на своём Варвара. – Столько дома не была.

– Ей дальше всех ехать, оттуда сильно-то не набываешься.

– А кто велел ей туда забираться? Уж если ей обязательно военный был нужен, они везде теперь есть, могла бы поближе где подыскать. А то, как сирота казанская, без огляду улетела и забыла, где родилась, кто родня.

Люся бессильно покачала головой:

– С нашей Варварой лучше не спорить. Она всегда права.

– Не любите, когда правду-то говорят.

– Вот видите. – Люся поднялась из-за стола, поблагодарила: – Спасибо, Надя. С таким удовольствием поела рыжиков.

– Да вы их мало совсем и брали. Не за что и спасибо говорить.

– Нет, для меня не мало. Мой желудок уже отвык от такой пищи, поэтому я боюсь его сразу перегружать.

– От рыжиков поносу не будет, – примирительно сказала Варвара. – Они для брюха не вредные. Я по себе это знаю, и ребятишки у меня никогда от рыжиков не бегали. – Она не поняла, почему Люся, охнув, ушла, и спросила у братьев: – Чё это она?

– Кто её знает.

– Прямо ничё и сказать нельзя.

– А ты с ней по-городскому разговаривай, по-интеллигентному, а не так, – посмеиваясь, посоветовал Илья.

– Я-то по-городскому не умею, во всю жисть только раз там и была, а она-то, поди, из деревни вышла, могла бы со мной и по-деревенски поразговаривать.

– Она, может, разучилась.

– Она разучилась, я не научилась – чё ж нам теперь и слова не сказать?

После завтрака Михаил и Илья сели на крыльцо курить. День разгуливался, небо вместе с туманом отодвигалось всё выше и выше, в синих, обрывающихся в даль развоях для него уже не хватало человеческого взгляда, который пугался этой красивой бездонности и искал что поближе, на чём можно остановиться и передохнуть. Лес, приласканный солнцем, засветился зеленью, раздвинулся шире – на три стороны от деревни, оставив четвёртую для реки. Во дворе, перед глазами мужиков, без всякой надобности, просто так, по своей охоте кудахтали и били крыльями курицы, чирикали молодки, от тепла и удовольствия повизгивал привалившийся к огородному пряслу боров.

Вышла Нинка, со сна её ослепило солнцем; она прикрыла глаза ладошками, сморщилась, потом, когда глаза привыкли, шмыгнула за поленницу и села. К ней пристала курица, норovia

зайти сзади, Нинка закишкала на курицу, завертелась и нечаянно выехала голой попой из-за поленницы. Михаил крикнул:

– Нинка, я тебя, как кошку, носом буду тыкать, так и знай. Сколько раз говорить тебе, чтоб подальше ходила!

Нинка спряталась, обиженно отговорила:

– Курицы склюют.

– Я тебе покажу – курицы.

Деревня после утренней уборки унялась: кому надо было на работу, ушёл, хозяйки, управившись со скотиной, справляли теперь по дому дела негромкие и неслышные, а ребяташки ещё не успели высыпать на улицу – было спокойно, ровно, с редкими привычными звуками: животное ли прокричит, или скрипнет калитка, или где-то сорвётся как бы ненароком человеческий голос – всё не для слыху и не для отклика, а для того лишь, чтобы кругом при живых не казалось пусто и мертво. Этот покой смирял и шумы, и движения, ладил с ясным, светящимся теплом, падающим с открытого неба, тихо и невидно возносил деревню, отогревая её после ночи.

– Видать, не вредная у нас всё же мать была, – сказал Михаил, тронутый ласковой, манящей тишиной. – И день для неё вон какой выдался. Не каждому такой дают.

– Погода установилась, ага, – отозвался Илья.

– Нам, однако, надо вот что сделать. Пока в магазине белая есть, надо, однако, взять. А то, если завтра деньги привезут, её всю порастащат. Потом бегай.

– Водку, что ли?

– Но. Белую. А эту, красную, я не уважаю. Она для меня что есть, что нету. С неё, с холеры, утром голова не дай бог болит. – При воспоминании о похмелье Михаила передёрнуло. – Как чумной весь день ходишь.

– Всё равно для женщин взять придётся.

– Немножко возьмём, и хватит. Куда её много? Теперь женщины тоже не сильно-то её пьют. Всё больше нашу.

– Кругом равноправия требуют?

– Но.

Они хитро и понимающе улыбнулись, но заводить весёлый у мужиков разговор о равноправии сейчас было не время, и они оставили его. Илья спросил:

– Сколько водки будем брать?

– Да не знаю, – пожал плечами Михаил. – Ящик, однако, надо. Если на поминки, то меньше и делать нечего. Полдеревни придёт. Позориться тоже неохота, у нас мать будто не скупая была.

– Ящик возьмём, ага.

– У тебя с собой какие-нибудь деньги есть?

– Пятьдесят рублей есть.

– Да я сейчас у Нади возьму. Хватит нам.

– У сестёр брать будем?

– У Варвары и брать нечего. У Люси можно спросить, у неё, наверно, денег много. Пускай даёт. Тоже родная дочь, не приёмная – как её будешь отделять? Ещё обидится.

– Сейчас сразу пойдём?

– А чего тянуть? Я вот Надю найду, и пойдём. Нет, взять надо, а то её завтра, если получку привезут, как пить дать не будет. Я знаю, у нас тут это так. Чуть рот разинул, и всё, переходи на воду. В другое время оно, конечно, и перетерпеть можно, а раз уж у нас такое дело, потом позору не оберёшься. Нет, мать надо проводить как следует, на мать нам пожаловаться нельзя. – Михаил первый поднялся, не прерываясь, раскинул: – Давай так: я к своей пойду, у нас там тоже должно немножко остаться, а ты давай к сестре, а то мне, вроде как хозяину,

неловко у неё спрашивать. И туда. Это мы правильно догадались. Взять надо, взять, теперь уж дожидаться нечего.

Скоро они ушли, возбуждённые тем, что идут за выпивкой и возьмут её много, столько, что одному и не унести. Магазин находился недалеко, народу в нём перед получкой никого не было, и они не задержались там, позвякивая бутылками, притащили ящик и поставили его в кладовке.

– Ну вот, – сказал Михаил. – Когда она на месте, оно спокойней. Пускай стоит, ей тут ни холеры не будет. А эту, портвейную, в любой момент можно взять, на неё сильно-то охотников нету.

В избе вдруг заголосила Нинка, и Михаил открыл дверь, хотел прикрикнуть на дочь, но увидел, что её уже взяли в оборот все три женщины, и прислушался.

– Она сама-а, – тянула Нинка.

– Что сама? Что? – тормошила девчонку Люся.

– Это не я-а. Она сама-а...

– Да что она сама? Ты скажи. Ты говорить умеешь?

– Она сама глаза открыла и сама меня увидала...

– Ну и что?

– Сама её увидала, – передразнила Нинку Надя. – А почему я тебя увидала, что ты к ней в чемодан лезешь? Тебя кто туда просил? Чего ты там забыла?

– Она сама мне показала! – выкрикнула Нинка. – Ты не видала и не говори.

– Я вот тебе поразговариваю так с матерью. Ишь, за моду взяла. У кого только и научилась.

– Подожди, Надя, – остановила её Люся и опять наклонилась к Нинке. – Куда она тебе показала?

– Куда... куда... Под кровать.

Надя объяснила:

– Она там в своём чемодане конфеты для неё держит.

– А как она тебе показала? – продолжала допытываться Люся. – Расскажи нам подробнее.

Как это было? Ну?

– Я на неё смотрела, а она на меня не смотрела, а потом глаза открыла и тоже начала смотреть. И показала.

– Она тебе ничего не говорила?

– Не говорила.

– Ой-ёшеньки, – тяжело вздохнула Варвара. – Чё ж это будет-то?

– Она у нас вообще-то не пакостливая, – вступился за Нинку Михаил. – Никогда не замечали. Может, на мать правда озаренье какое нашло. А Нинка тут подвернулась.

Упоминание о смерти заставило их насторожиться, присмиреть, даже задышали с опаской, словно воздух уже был отравлен въедливой потусторонней затхлостью, пускать которую живым в себя нельзя. Потом тихонько придвинулись к старухиной кровати, стараясь найти в матери перемены, и не нашли: теперь, когда свет стал богаче, чем утром, лицо старухи казалось ещё мертвее, но сердце по-прежнему продолжало колотиться, не пуская её оторваться от людей.

Михаил вышел на улицу к Илье, который всё это время забавлялся тем, что крошил курицам хлеб, и рассказал:

– Нинка говорит, мать-то наша глаза открывала.

– Смотри-ка ты! – удивился Илья, отпугивая ногой петуха. – Чего это она?

– Не знаю.

– А жива?

– Живая. Смотрели.

День всё же выдался с умыслом, не просто так, и умысел этот вполне мог касаться старухи – день был мягкий и лёгкий и ровно сошёлся над самой деревней, а то и над самой старухиной избой. Время уже придвигалось к обеду, а он так и не расшумелся, тек тихо и близко, оберегая кого-то от вредного беспокойства. Небо с утра приспустилось ниже и вроде бы задумалось, но и не сильно, в ожидании. В сентябре дни тоже стоят не молоденькие, много чего с весны повидали, а этот, похоже, и вовсе всё под собой знал и в чем-то, может, хотел помочь старухе, чтобы не находиться ей больше на суровом, судном месте – только и надо было: незаметно передвинуть её вперёд или назад, чуть подтолкнуть оттуда, где она застряла.

Михаил и Илья, притащив водку, теперь не знали, чем заняться: всё остальное, по сравнению с этим, казалось им пустяками, и они маялись, словно через себя пропускавая каждую минуту. Они поговорили о том, что Татьяны почему-то всё нет и нет, хотя можно было уж десять раз приехать. Илья спросил у Михаила, когда ему на работу, и Михаил ответил, что он на эти дни отпросился – слова выходили пресные, без особой надобности и не складывались в разговор. Братья понимали, что сейчас всё главное для них состоит в том, чтобы ждать, но и ждать тоже можно по-разному, и они исподволь уже начали тревожиться, так ли сидят, как надо, не теряют ли даром время. Мысли об умирающей матери не отпускали, но сильно и не мучили их: то, что надо было сделать, они сделали – один дал известие, другой приехал, и вот водку вместе принесли – всё остальное зависело от самой матери или от кого-то там ещё, но не от них – не копать же в самом деле могилу неготовому человеку! Всегда у них была работа, а тут вдруг её не стало, потому что перед бедой, которая заступила за порог, справлять постороннюю работу считалось нехорошо, а от самой беды никакого дела больше не шло.

– Скажи всё же, а, – начал опять разговор Михаил. – Ведь знали, что вечно жить не будет, что близко уж. Вроде привыкнуть должны, а не по себе.

– А как иначе, – подтвердил Илья. – Мать.

– Мать... это правильно. Отца у нас нет, а теперь мать переедет, и всё, и одни. Не маленькие, а одни. Скажем, от нашей матери давно уж никакого толку, а считалось, первая её очередь, потом наша. Вроде загораживала нас, можно было не бояться. А теперь живи и думай.

– А зачем об этом думать? Думай не думай...

– Оно и незачем, а всё равно. Вроде как на голое место вышел, и тебя отовсюду видать. – Михаил крутнул кудрявой головой, помолчал. – Опять же о своих ребятах если сказать. При живой бабке они всё будто маленькие, и сам ты молодой, а теперь вот умри она, ребята сразу начнут тебя вперёд подталкивать. Они же, холеры, растут, их не остановишь.

Михаил не успел закончить – выскочила Надя, быстро, не своим голосом позвала:

– Мужики, идите скорей. Скорее.

– Что там такое?

– Мать...

Пока они подросли, старуха уже опять впала в беспамятство, но перед тем она вдруг выговорила какое-то слово, какое – не расслышали, а когда Люся и Варвара подбежали, она ещё смотрела перед собой, но глаза уже смыкались. Что-то происходило в ней, хоть она больше и не двигалась, что-то внутри заработало – видно было, что старуха вот-вот стронется с оставившего её места, даже в лице наметились изменения: оно стало глубже, смелей и оттуда, из глубины, вздрагивало оставшимися в нём силами, как бы подмигивая закрытыми глазами.

Они стояли вокруг матери, со страхом смотрели, не зная, что думать, на что надеяться, и этот страх совсем не походил на все прежние страхи, которые выпадали им в городской и деревенской жизни, потому что он был всего страшнее и шёл от смерти – казалось, теперь она заметила всех их в лицо и больше уже не забудет. Страшно было ещё и видеть, как это происходит: когда-нибудь это должно было произойти и с ними, а они считали, что это то самое, и не хотели смотреть, чтобы не помнить о нём постоянно, и всё-таки не могли отойти или отвернуться. Ещё и потому нельзя было отойти, что она, занятая их матерью, могла остаться

этим недовольной, а обращать лишний раз на себя её внимание никому не хотелось. И они стояли, не двигались.

Что-то стало биться в старухины глаза, шевелить их, и глаза не сразу, не легко, но открылись, попробовали пойматься за свет и не смогли, сорвались. Несколько минут они лежали спокойно, затем опять пришли в движение и разомкнулись, на этот раз силы в них было больше, и они в своём ненадёжном свете что-то увидели, что-то такое, что тоже было ненадёжным и туманным, как видение; на лице старухи появилось выражение отчаяния и боли, и она, поморгав, стараясь отогнать видение, не смогла отогнать его и укрыла глаза, быть может, сама. Но то, что привиделось старухе, уже не отпускало её, звало проверить – казалось, к ней пришли воспоминания о том, что она жила, и ей захотелось узнать, где она теперь и в уме ли она; старуха тихонько раздвинула глаза, над которыми у неё нашлась власть, и выглянула – нет, они не пропали, она увидела их ближе и признала – этого она уже не вынесла в молчании, из её груди посыпались слабые сухие звуки, похожие на клохтанье.

Варвара ахнула, пришлёпнула ладонями и прижала их к горлу, останавливая себя, чтобы не закричать.

Старуха умолкла, словно истратила в себе остатки живого, глаза её нехотя сморчились, но дыхание было сильным, и старуха от него вздрагивала, потом и дыхание направилось, но не пропало, по нему было ясно видно, как шевелится на старухе одеяло.

Они ждали, особенно близко чувствуя, что они сыновья и дочери этой старухи, и жалея её, а ещё больше жалея себя, потому что после её кончины им останется горе, навязанное смертью, которое кончится нескоро. И ещё каждый из них по-своему чувствовал новое, не бывавшее прежде в нём горькое удовлетворение собой оттого, что он здесь, при матери в её последний час, как и положено сыну или дочери, и тем самым заслужил прощение – какое-то другое, не человеческое прощение, мало имеющее отношение к матери, но всё же необходимое в жизни. Это были страх и боль вместе, больше всего их пугало, что они, глядя на долго отходящую мать, видели, казалось, то, что людям смотреть нельзя, и, сами не веря себе, они хотели, чтобы это кончилось скорей.

Старуха всё дышала.

Илья, не вытерпев, шепнул что-то Михаилу, и старуха, как отзываясь на этот шёпот, вдруг опять открыла глаза и не убрала их, всмотрелась. Она хотела заплакать, но не смогла, плакать было нечем. Ей кинулась помогать Варвара, заголосила легко и громко, и старуха, поддержанная нужным ей голосом, осталась, не провалилась; слова уже ушли от неё, и всё-таки те, самые родные, которые всегда были на языке, она вспомнила.

– Лю-ся, – с усилием выговорила она. – Илька. Вар-ва-ра.

– Мы здесь, мама, здесь, – удержала её Люся. – Лежи. Мы здесь.

– Матушка-а! – зашлась Варвара.

Старуха поверила и голосам, и себе, в последней радости и страдании затихла. Она смотрела на них, а сама, казалось, погружалась куда-то всё глубже и глубже.

И вдруг её что-то остановило, она вернулась, лицо её сморщилось, глаза кого-то искали. Варварин плач мешал ей, и Варвару догадались остановить.

– Таньчора, – с мольбой выговорила старуха.

Они переглянулись, вспоминая, что мать звала так Татьяну, и враз ответили:

– Ещё не приехала.

– Вот-вот будет.

– Теперь уж скоро.

Старуха поняла, чуть кивнула. На лицо её нашло спокойствие, глаза закрылись. Она опять была далеко.

Они отошли – надо было отдохнуть. Возле старухи осталась одна Варвара, она тихо плакала, и плач её никому не мешал. Умолкни она, и им стало бы не по себе.

3

Чудом это получилось или не чудом, никто не скажет, но только, увидав своих ребят, старуха стала оживать. Ещё два или три раза она теряла память, будто незаметно проваливалась куда-то в тёмную глубь под собой, и всё же всякий раз приходила в себя и с боязливым стоном приоткрывала глаза: тут они или они ей пригрезились? Кто-нибудь из них обязательно был рядом и звал остальных – она узнавала их и, успокаиваясь, силилась заплакать. В последний раз ей это удалось, и она сама услышала свой слабый, издержавшийся голос, который, видать, не собирався больше выходить наружу и оттого вышел с таким мучением.

Мало-помалу старуха выправилась, и всё, что в ней было и что должно было ей подчиняться, одно за другим находилось и как будто даже годилось для жизни. Перед вечером она отошла уже настолько, что позвала Надю и попросила:

– Ты бы сварила мне кашу, которую маленькой Нинке варила. Из крупы. Жиденькую.

– Манную, что ли?

– Ну-ну, её. Маненько. Горло промочить. Жиденькую.

В доме забегали, захлопотали. Слава Богу, манка у Нади была, но печь к той поре после обеда совсем остыла, и кашу решили варить на электроплитке, долго искали её, кое-как нашли, да оказалось, что электричество ещё не подают. Отправили Михаила растапливать во дворе каменку; Люся с Варварой заспорили, в чём варить кашу, потому что Варвара готова была сразу скормить матери ведёрный чугунок, а Люся стояла на том, что много нельзя, вредно, лучше потом сварить снова; Илья топтался возле Михаила, приговаривал:

– Мать-то наша, а? Видал?

– Родова, – соглашался Михаил. – Нашу роду так просто в гроб не загонишь.

– Кашу, говорит, хочу – ага. Видал? А я, правду сказать, не верил, думал, всё, концы. А она: кашу, говорит, хочу, варите, говорит, мне кашу. Проголодалась, значит. Ишь ты!

– Старухи вообще долго живут. Чем дряхлее старуха, тем дольше живёт – вот заприметь. На нет вся сойдёт, душе не в чем держаться, а всё шевелится. Откуда что и берётся.

Илья весело настаивал:

– Но мать-то, мать-то наша! Кто бы мог подумать! Мы с тобой ей водку на поминки берём, а она говорит: «Подождите, – говорит, – добрые люди, дочери мои и сыновья, я ещё каши не наелась». – Он смеялся и повторял: – «Каши, – говорит, – ещё не наелась, а без каши я ничего не знаю».

– Ослабела, – более сдержанно отвечал Михаил. – Оно, конечно, столько дней крошки в рот не брала. Хоть до любого доведись.

Набежали женщины с банками и склянками, засуетились вокруг печки, будто в шесть рук собирались готовить бог знает какое заморское кушанье, а не обыкновенную манную кашу в маленькой кастрюльке. Тут же путалась под ногами Нинка; Надя гнала её и никак не могла прогнать: Нинка понимала, что произошло что-то важное, необыкновенное, и боялась пропустить то, что произойдёт дальше. Варвара вспотела, она то и дело бежала от печки к старухе, придерживая в беге живот, как беременная, и подбадривала мать:

– Потерпи, матушка, потерпи, скоро сварим.

Кашу подала старухе Люся, не отпуская кружку, чтобы мать не выронила её на себя. Старуха пила маленькими, осторожными глотками: отхлебнёт два раза и отдохнёт, ещё отхлебнёт и ещё отдохнёт. И отпила-то, как грудной ребёнок, не больше, а уж откинулась, изнемогла, махнула на кружку рукой, чтобы убрали, и долго ещё не могла отдышаться:

– Ой, задохнулась вся. Хуже работы. У меня и животишко-то уж в узелок завязался. Где же его растянешь?

– Ничего, мама, ничего, – подбодрила её Люся. – Так и надо. Сейчас желудок перегружать сразу нельзя. Мало ли что. Пусть он сначала это переварит, потом можно ещё попить.

– Животишко-то уж в узелок завязался, – с горькой радостью повторила старуха. – Думал, па-е-хали, Анна Степанна, на новую фатеру. Па-е-хали с орехами. – Налаживая дыхание, она невидяще смотрела куда-то вверх, и оттого казалось, что она бредит. – А я-то, бесстыжая, омманула его, назад повернула, а тепери над им же и изгаляюсь, кашу в его толкаю. А куды ему мою кашу, сама бы подумала.

Воздуха ей не хватило, и она закашлялась. Люся торопливо сказала:

– Тебе нельзя, мама, говорить так много. Ты ещё совсем слабая.

– Молчать, ли чё ли, буду? – куражливо ответила старуха. – В кои-то веки ребят своих вижу, и молчком? – Они все были тут, возле неё, и она обвела их неверным и всё-таки гордым взглядом и уже спокойнее продолжала: – Меня будто в бок кто толкнул: ребята приехали. Нет, думаю, я сперва на ребят на своих погляжу, а уж после помру – боле мне ниче-о не надо.

Говорить ей всё же было трудно, она поневоле умолкла. Но радость, оттого что она видит перед собой своих ребят, не давала ей отдохнуть, билась в лицо, шевелила руки, грудь, забивала горло. Они все были возле матери и, чтобы она не отзывалась им, тоже молчали, берегли её. Старуха несколько раз принималась плакать, глядела на них суматошно и нетерпеливо, вздрагивая маленькой головой, когда переводила глаза с одного на другого, и только узнавала их: это Илья, это Варвара, это Люся, но от слёз ли, или глаза сами по себе видели ещё плохо, не могла рассмотреть их как следует и от этого сердилась на себя. Ей вдруг опять пришло в голову, что всё вокруг неё неправда – сон или видение, последнее воспоминание о прожитой жизни – потому и стоит перед глазами туман.

Отгадывая себя, она замерла, затихла.

В комнате было светло тем неярким и чистым светом ясного дня, который бывает перед закатом. Старуха лежала изголовьем к окну, и солнце падало ей в ноги, осторожно остывало на стене напротив, словно, выступая, пронизывало её с другой стороны. Только теперь старуха увидела солнце и, узнав его, обрадовалась: после долгих, беспмятных потёмков ей сразу стало теплее от него, бережным дыханием оно пошло в её тело, подгоняя кровь. Это был не сон: во сне и солнце не греет, и мороз не холодит. В ушах легонько зазвенело дальним приятным звоном, и так же неожиданно, как возник, этот звон прекратился. Старуха стала вспоминать, откуда он мог взяться, и решила, что он сохранился в ней ещё с той поры, когда она была молодой, – тогда она часто его слыхала и запомнила на всю жизнь. Он не мог обмануть её, он был живой.

– Господи, – прошептала старуха. – Господи.

Она набралась духу и подняла глаза. Они были здесь, ждали на прежнем месте, но старухе показалось, что они подошли ближе. Теперь она видела их яснее.

С краю, возле самой двери, как чужая, стояла Надя, рядом с ней Илья.

К Илье старуха не могла привыкнуть ещё в прошлый раз, когда он после Севера заехал домой. Рядом с голой головой его лицо казалось неправдашным, нарисованным, будто своё Илья продал или проиграл в карты чужому человеку. И весь он изменился, стал суетливей, бойчей, хотя по годам пора бы уж ему и остудиться – видно, то место, где он жил, этому далеко не родня и Илья никак не может от него опомниться.

Старуха смотрела на Илью долго, до неловкой устали. Она искала в нём своего Илью, которого родила, выходила и держала в памяти, и то находила его в теперешнем, то опять теряла. Он был, но далеко. Столько нового мясаросло на нём, столько всяких людей без неё ходило с ним рядом, что она верила и не верила, что это он, будто её Илью, как малую рыбёшку, заглотила рыба побольше да порасторопней, и теперь они живут в одном теле. Позови его, и он, может статься, сразу не откликнется, будет вертеть головой, его зовут или не его, и кто зовёт, откуда. Старуха верила, что там, куда он уехал, лучше ему не стало. Жил бы

да жил в деревне... Про Люсю это и подумать даже нельзя, она городская вся, с ног до головы, она и родилась-то от старухи, а не от какой-нибудь городской, наверно, по ошибке, но потом всё равно своё нашла. Илья – нет. Он не походил ни на городского, ни на деревенского, ни на чужого, ни на себя. У него было весёлое лицо, но старуха, глядя на Илью, жалела его, а почему жалела, она и сама не знала, не умела понять.

У Ильи и в самом деле было веселое лицо. Он всё ещё не мог прийти в себя от удивления, что старуха жива, и с удовольствием смеялся над собой, над Михаилом, над сёстрами: «Как она нас, как?! Ай да мать, ай да молодчина!» Ещё перед обедом они все были уверены, что старуха мучится умирая, а она мучилась, чтобы выжить. Больше всего Илья смеялся над собой: вчера, отпрашиваясь с работы, он так и объявил в гараже: еду хоронить мать, нисколько не сомневаясь, что для того и едет. Что же он скажет им теперь? Фокус, да и только. Илья готов был поверить, что мать схитрила, нарочно прикинулась умирающей, чтобы собрать их всех возле себя, и хотя он знал, что это чепуха, которую придумал он сам, всё же не торопился её отбросить, покатывал её в себе, потрагивал, заигрывал с ней, как кошка с мышкой. То, что старуха сама попросила кашу и совсем как ребёнок, только что не из соски, заново училась её есть, и забавляло и трогало Илью до гордости, и он с любопытством поглядывал на мать: интересно, что она выкинет ещё?

Старуха дала глазам отдохнуть и нашла Варвару, которая сидела у неё в ногах. Та нетерпеливо подалась вперёд, навстречу материнскому взгляду. «Матушка-а! Это я, твоя старшая. Я к тебе повидаться приехала, а ты на меня и не смотришь», – потерянно кричала вчера Варвара. Вот и увидела старуха свою старшую, дождалась Варвара. Увидела, и качнулось старухино лицо, едва приметно кивнула она и вздохнула; кивнула – словно благословила Варвару на спокойную старость, единственное счастье, которое ей ещё могло достаться, а вздохнула – потому что знала: нет, не достанется, нечего и думать. Глядя на Варвару, она едва удержала себя, чтобы не заплакать. Ей-то самой больше ничего не надо, всё осталось позади – что вышло и не вышло, а Варвара ещё поживет, и как хорошо было бы ей больше не маяться.

Она не пропустила и Михаила, хоть и помнила его лучше себя. Старуха хотела знать, какой он рядом с ними со всеми, а не один. Она часто вспоминала поговорку: первый сын Богу, второй царю, третий себе на пропитание. Богу да царю она отдала больше, теперь их считать – только плакать. Но и живые, как только подрастали и годились для работы, один за другим уезжали, будто кто-то, как щенят, отнимал их от матери и отдавал в чужие руки. Остался только Михаил, и старуха с полным правом могла бы сказать, что родила его для себя, чтобы дожить ей свою жизнь на старом родительском месте, потому что не представляла, как можно жить где-то ещё. Она не считала Михаила лучше других своих ребят – нет, такая ей выпала судьба: жить у него, а их ждать каждое лето, ждать, ждать...

Если не брать трёх лет армии, Михаил все время был возле матери, при ней женился, стал мужиком, отцом, как все мужики, заматерел, при ней всё ближе и ближе подступал теперь к старости. Она привыкла, присмотрелась, притерпелась к нему, и все те изменения, которые происходили в нём, оставались для неё незаметными. Вчера был Михаил и сегодня Михаил. Другое дело Илья: уехал на Север с волосами, приехал без волос – тут слепой и тот увидит. Даже у Варвары, которая навевалась домой чуть ли не каждый месяц, мать находила перемены: ещё больше потолстела, стала к месту и не к месту по-старушечьи вздыхать, плакаться, в голове на чёрном появились блески. Илья, Люся, Варвара, Таньчора для того, казалось, и уезжали от матери, чтобы она потом заметила, как они изменились, они привозили ей себя как заботливое напоминание о годах: с последней встречи прошло столько-то времени, столько-то, столько-то, и с каждым таким приездом старуха, спохватываясь, перебегала вперёд сразу на несколько лет. Получалось, что она старела годами, которые они привозили ей от себя, а не своими собственными, сама она незаметно копошилась да копошилась бы на одном месте, покуда не придёт её час. Но разве могла она об этом думать? Она ждала их, задыхаясь от ожи-

дания, особенно когда слегла, а они в последнее время стали приезжать совсем редко. У каждого из них своя семья, своя жизнь. Тоже не молоденькие; годы теперь их не гладят – скребнут. Старуха понимала.

На Люсю старуха только взглянула и сразу отвела глаза, а потом посматривала на неё осторожно, украдкой, как бы подглядывая. При Люсе старуха стыдилась себя, того, что она такая старая и слабая, ни кожи ни рожи. Ей казалось, что и дочь тоже должна стыдиться её – вон какая она красивая, грамотная, даже говорит совсем не так, как говорят здесь: слова вроде те же, но, чтобы понять их, надо слушать изо всех сил. Что ни спроси её, она обо всём знает: поездила, поглядела за десятерых. А что старуха видала в своей жизни? День да ночь, работу да сон. Вот и крутилась, будто белка в колесе, и все, кто жил с ней рядом, тоже крутились ничем не лучше, считая, что так и надо. У Люси была какая-то другая, непонятная, неизвестная старухе жизнь, в которой многое делается по-новому, может, даже умирают по-другому – старуха не знала. Ей уже поздно было отказываться от своих привычек – и умрёт она как придётся, и поплачет, когда будет охота, по старинке, и всё же при Люсе старуха старалась удерживать себя, чтобы не сказать и не сделать лишнее – что может рассердить дочь.

Она всё смотрела и смотрела на них – жадно, торопливо, словно навеки впитывая в себя каждое лицо, и никак не могла насмотреться, всё ей было мало.

– Ты успокойся, мама, – сказала ей Люся. – Успокойся и отдохни.

– Приехали, – старуха подобрала руки к лицу и, закрываясь, заплакала.

– Приехали, мать, приехали, – бодро ответил за всех Илья. – Всё в порядке.

Варвара вздрогнула, гудящим шепотком оборвала его:

– Не кричи ты громко. Не видишь, чё ли?

– Приехали, – успокаиваясь, повторила старуха. – Дождалася. – Она сказала это тем доверчивым, облегчающим душу голосом, каким разговаривают вдвоём между собой немолдые, много лет знакомые люди, с вниманием помолчала и, всё так же не открывая глаз и не меняя голоса, продолжила: – А я пробудилась и ничё понять не могу, то ли я это, то ли уж не я. Я ить совсем себя не чувяла, ни рук на мне, ни ног. Одна душа, и та заблудилася. Думаю, это я померла, не иначе, оттого и темень кругом. Слава те господи, отмучилася. Только подумала так, вижу: светло как днём. А это глаза у меня сами открылись, а я ничё и не знала. – Она открыла глаза, ни на кого не глядя, дала им привыкнуть к солнцу. – Вот этак же светло, ишо посветлей было. Думаю, кто это меня красным днем дразнит? А вас увидала и боле того не поверила. Рази я надеялась? Да чтоб все тут, только Таньчоры нету... Лежу и думаю: «Не иначе как человеку уж после, как он помрёт, последняя радость дадена: ишо раз поглядеть, чё он от себя оставил, об чём его сердце болело».

– Ну, мать, молодец ты у нас, ага, – с весёлым удивлением покачал головой Илья. – Давно ли слова не могла сказать, и вот, пожалуйста, всю разговорилась. Прямо как по писаному чешешь.

– И правда, мама, не говори много, тебе нельзя, – опять предупредила Люся, но без прежней уверенности, чего-то пугаясь.

– Да нет, пускай говорит, если может. Я только к тому, что быстро она этим делом овладела. Как в сказке – ага.

– Это всё вы, – просто объяснила старуха. – Из-за вас. Я ить там уж была. Там, там, я знаю. А вы приехали – я назад. Мёртвая не мёртвая, а назад, сюды к вам воротилась. – Голос её тянулся тонкой, западающей ниточкой, которая то терялась, то находилась снова. – Бог помог. Он мне и силу дал, чтоб я маненько на человека походила. Чтоб вам не сильно меня пугаться, чтоб рядышком со мной сидеть можно было.

– Всё дело, значит, в Боге? Интересно ты, мать, рассуждаешь.

– У какой матери середь своих ребят силы не прибудет? Чё тут говорить! Да ишо столько не видала их. Мне тоже охота под послед словом с вами перекинуться. Я от рук, от ног послед-

нее отыму, а голосу добавлю. А он и сам идёт, без меня. Я только зачну, а дальше он сам, покуль не устанет. От начать, правда что, тяжело. Вроде сперва на вышину надо запрыгнуть. И одышка ишо берёт. От и сичас. Погодите.

Отдыхая, она долго смотрела на стену, где держалось солнце: после дневной белой кипени оно стало мягче и красней. На лицо старухи постепенно нашло глубокое и ясное, идущее от вечера, которое старые люди чувствуют лучше, выражение покоя. Похоже было, что она забыла и про себя, и про своих ребят, ничего не слышала, даже собственного дыхания, и всё равно дышала какими-то другими силами, ничего не видела, кроме солнечного пятна на стене, но и это пятно, разрастаясь, само вливалось в её открытые глаза и не отпускало их своей властью, – и всё равно жила и жила яснее, зорче, чем раньше, не напрягаясь для жизни, а находясь под её осторожной охраной.

Они ждали, уходить было нельзя. Разговаривать между собой тоже казалось нехорошо – они ждали мать, как она им велела, стараясь не смотреть друг на друга.

– Меня и тепери ишо будто на руках кто держит, – сказала она, не обращаясь к ним. – Будто ничё подо мной твёрдого нету. А не страшно – будто так и надо.

Она ещё помолчала в полной неподвижности и очнулась. Глаза устало опустились, в лице появилось обычное у людей терпение, но у неё при виде своих ребят оно тут же перешло в тихую тёплую радость. И опять старуха не поверила себе, осторожно спросила у Люси:

– Вы-то когда приехали?

– Мы с Ильей вчера вечером.

Старуха сказала не сразу, подождала:

– Гостинцы мне никакие не привезли?

– Мы ведь торопились, мама, некогда было, – неловко замешкавшись, ответила Люся. – Кое-как успели. На пристань бегом пришлось бежать.

– Я ить не себе, – сказала старуха. – Мне ниче-о не надо. Я это Нинке, холёсенькой моей. – Она потянула руки к Нинке, которая стояла возле Варвары, и не дотянулась – Нинка боязливо отступила от её рук. Старуха не обиделась. – В чемодан для её спрячу и после по одной достаю. И себе радость, и ей. А она уж разнюхала. Лезет ко мне: «Давай, баба, посмотрим, чё там лежит». Я ей говорю: «Ничё там не лежит», а она опеть. Я вроде ничё не понимаю, как маленькая, играюсь с ей. Она у меня холёсенькая, всё с бабой. Поговорю с ей, и на душе легче. Известно, старый да малый.

– Я утром схожу в магазин, куплю что-нибудь, – пообещала Люся.

– Да не надо ей ничего, – застеснялась Надя. – Голодная она, что ли? Это уж она так лезет, приповадили. От баловства.

– Сходи, сходи, – сказала старуха. – Только всё ей не ондавай, маненько рази. Остальное мне ондай, я спрячу. Будто от меня будет. Я уж под послед ишо покормлю её.

Люся вспомнила:

– А я тебе, мама, виноград отправляла – ты ела его?

– Эти ягодки-то зелёные?

– Да. Виноград называется.

– Ну его к лешему. В ём посередке косточки, а у меня терпения нету их выбирать. Нинке и скормила. Она прямо так с косточками и хрумкала – только шум стоит. Пускай, думаю, ест, раз ндравится. А мне куды его? Только добро переводить. Мне ить, Люся, ниче-о не надо. Мне Бог, вишь, какую радость дал: на вас перед смертью поглядеть. Я рази не понимаю?

Она опять заплакала – бесслёзно, спокойным и недолгим облегчающим плачем – и умолкла, вытерла сухие глаза.

– Ничего, мама, ничего, – сказала Люся. – Теперь поправляйся, и всё будет хорошо.

Старуха не ответила, она снова смотрела на солнце на стене, к которому липли последние мухи, и во всём её положении была такая заворожённость и нечеловеческая стынь, будто ей

дано было увидеть и запомнить то, что больше никто не смог бы понять. В избе стало совсем тихо, а с улицы ничего не доходило. На этот раз старуха молчала недолго и высветленным, затаённо-сообщающим голосом, который, казалось, выходит из неё сам, без её участия – она и глаза не подняла от стены, – сказала:

– А я ить, Варвара, слыхала, как ты вчерась надо мной ревела. Голос твой был, твой – я помню. Только я-то подумала, что это ты надо мной над мёртвой уж ревьешь. Ну. Я ишо раньше, как в памяти была, лежу и думаю: «Вот помру, приедет Варвара, обголосит меня, и то ладно». Так на тебя и надеялась. А тут слышу: ты. Вот я и посчитала, что это я тебя скрозь смерть слышу – не иначе.

Варвара онемело, с открытым ртом закивала матери – не могла ни сказать, ни заплакать. Илья подошёл к Михаилу, удивлённо шепнул:

– Чудная у нас мать. Тебе не кажется?

– А кто скажет, моить, оне потом ишо сколько да-нить слышат, – добавила старуха. – Кто скажет? Никто не скажет. Глаза-то им закроют, а уши открытые.

– Ты о чём это там, мать? – громко спросил Илья. – О чем говоришь-то?

– Об чём? – Старуха по голосу нашла Илью и не смогла ответить, застыдилась. – Я ить от радости, что вас вижу, не знаю, чё и сказать. Болтаю чё-то. Вы уж не сердитесь на меня, на старую. Я совсем из ума выжила.

– Да ты что, мать! Ты думаешь, мы не рады, что у тебя всё в порядке? Давай теперь только быстрей поправляйся. В гости с тобой пойдём, ага. Чего нам дома сидеть! Все вместе соберёмся и пойдём в гости. А не пойдёшь – на руках унесём. Тебя есть кому на руках таскать.

– Попей ещё. – Люся подала матери кружку с кашей. – Теперь можно, желудок уже работает, справится.

Старуха попробовала приподнять голову, Люся помогла ей. На этот раз старуха отпила больше и, отдышавшись, удивилась сама себе:

– Глите-ка! Пошло как в проваленную яму. Правду говорят: и худой живот, да хлеб жуёт.

– Ну вот, теперь будет лучше. А потом ещё попьём.

– Ой, да в меня боле не полезет.

– Ничего, ничего, полезет.

– Мне только бы Таньчору дожидаться, – жалобно сказала старуха. – Чё вот она так долго не едет? А ну как чё стряслось?

– Приедет, мама, не беспокойся. Ей далеко ехать. Обязательно приедет.

Старуха попросила:

– Вы сами-то покуль не уезжайте от меня, побудьте со мной маненько. Таньчора приедет, я не буду вас задерживать. Я знаю: вам долго, подимте, нельзя.

– Никто пока и не собирается уезжать.

– Побудьте. Я не стану вам надоедать, я тихонько. Лежу и лежу. Это я сичас разговорелась – долго не видала вас. От радости сама над собой не владею. Потом я молчком буду. Вы занимайтесь своим делом, каким охота, а я за день хошь раз на вас взгляну, и мне хватит.

– Что это ещё за «надоедать» да «молчком»? – выговорила старухе Люся. – Как тебе не стыдно, мама! Что ты выдумываешь? Тебе не в чем оправдываться перед нами – пойми, пожалуйста, это.

– Не говори так, матушка, – поддержала Люсю Варвара. – Не говори так, а то я не знаю, что со мной будет.

Илья тоже не вытерпел:

– Ну, мать, ну, мать...

Старуха счастливо умолкла, но не смогла удержать в себе радость:

– Глаза открою: вы тут, возле. Сичас, кажись, взлетела и полетела бы куда-нибудь, как птица какая, всем рассказала бы... Господи...

День отходил всё больше и больше, но в избе было светло и ясно: чёткое закатное солнце било прямо в окно, под которым лежала старуха. Солнце теперь доставало до потолка и сверху вторым своим светом расходилось по сторонам. Всё здесь было знакомо, всё было родное старухиным ребятам, и всё, казалось, чутко повторяло мать: наговаривало вместе с ней или умолкало, вглядывалось вниз ласковой и горделивой настойчивостью и отзывалось тихим, неназойливым вниманием. Не верилось, что изба может пережить старуху и остаться на своём месте после неё – похоже, они постарели до одинаково дальней, последней черты, и держатся только благодаря друг другу. По полу надо было ступать осторожно, чтобы не стало больно матери, а то, что они говорили ей, удерживалось в стенах, в углах – везде.

И воздух здесь был тот же, каким они дышали в детстве; он заманивал, затягивал их на много лет назад, но у него, как и у старухи, недоставало сил.

Окна осели, превратились в оконца. Чтобы пройти через двери, приходилось нагибать голову. Они уже давно отвыкли от неоштукатуренных стен, которые выпучивались белёными бревнами. Под матицей болталось кольцо для зыбки, а зыбка раньше почти никогда не пустовала; вырастал из неё один, ложился другой.

По обе стороны от окна над столбом в двух рамках густо лепились фотографии. Тут были все они: Илья и Михаил в армии – с приветами из тех мест, где служили; Илья за рулём машины на Севере; Варвара со своим мужиком – он и она с одинаково вылупленными глазами, с каменной прямоотой, стоят, держась за спинку стула, будто бояться упасть; Люся, склонившая голову набок, на подставленную ладонь; Люся где-то на курорте среди большущих чудных деревьев; ещё деревенская Татьяна с узким напуганным лицом, словно она фотографировалась под страхом смерти.

На божницу в правом углу теперь ставили лампу. В эту ночь лампа пригодилась, а так её не снимали оттуда месяцами, и старуха крестилась, не подымая глаз. Ещё правее, ближе к старухиному окну, висел плакат, завезённый в леспромхоз в позапрошлом году. На нём мальчишка с лопатой выходил из лесу. Подпись внизу разъясняла: «Сажай деревьев больше, будешь жить дольше». Лес поначалу был зелёным, но мухи быстро сделали его жёлтым, да и мальчишка за эти годы тоже порядком постарел, но к картинке притерпелись и не снимали её.

Теперь старуха смотрела на своих ребят спокойнее, поверив, что они вдруг ни с того ни с сего не вспугнутся и не пропадут, и говорила легче, без науги, сразу находя нужное слово. Она ещё уставала от разговора, но уже сама руководила собой: надо было отдохнуть – отдыхала, она снова приучилась оставлять себя на потом, на то, что будет впереди, а не изводиться вся на то, что есть.

Светлый вечер подходил к концу, в избе, да и не только в избе – везде, выстывало, смежалось.

Люся стала поправлять на матери одеяло, отогнула его и вдруг замешкалась, позвала:

– Михаил, иди-ка сюда.

– Что там такое?

Старуха, ничего не понимая, испуганно и стыдливо убрала с того места ноги.

– Посмотри-ка, Михаил, – показала Люся, дружиня голос.

– Куда?

– Вот сюда, сюда.

– Ну и что?

– Как «ну и что»? Он же ещё и спрашивает! Неужели ты не видишь, на каких простынях лежит у вас мама? Они же чёрные. Их, наверное, целый год не меняли. Разве можно больному и старому человеку, твоей матери, спать на таких простынях? Как тебе только не стыдно?

– Что ты меня стыдишь? Я что тебе – простынями заведую?

– Но посмотреть-то ты мог? Сказать, чтобы их постирали, уж, наверное, ты мог? Это-то совсем, кажется, не трудно. Или тебе всё равно, в каких условиях находится наша мама? Ведь ты здесь хозяин.

Люся не смотрела и не видела, как густо, не зная, куда себя девать, залилась краской Надя.

– Люся! Люся! – останавливала старуха и наконец остановила, Люся повернулась к ней. Старуха обессиленно махнула рукой: – Я ить надсадила тебя кричать. Ты пошто у меня-то не спросишь? Нашла о чём говорить – о простынях! Господи, да куды мне белые простыни? Я всю жисть без их спала да жива была. Это тепери новую моду завели: белое под себя подстилать. Ну-ка, постирай-ка их, этакую оказину, – без рук останешься.

– Мама, я сейчас разговариваю с Михаилом, а не с тобой.

– Да пошто с Михаилом-то, когда я тебе говорю, а ты своё? У меня, подимте, голосу нету, мне вас не перекричать будет. Мне Надя хуже горькой редьки надоела с этими простынями: давай выташу да давай выташу. Я ей говореть устала, чтоб отвязалась. Лежу и лежу, и нечего меня шевелить. Помру – одну холеру обмывать надо, без этого в гроб не кладут.

– Зачем ты заводишь опять об этом разговор?

– Ишо не лучше! Зачем, говорит. – Старуха досадливо умолкла, но долго не вытерпела: – Напужала ты меня, по сю пору опомниться не могу. Думаю, чё там она подо мной увидала, неужли я чё наделала? С меня тепери какой спрос? Хуже малого ребёнка. Сама себя не помню.

– Зато твой сын должен помнить и о себе, и о тебе, – упрямо стояла на своём Люся. – На то он и сын. У меня в голове не укладывается, как это ты, наша мать, можешь лежать на таких простынях. И никому до этого нет дела, все считают, что так и надо. Безобразие!

Надя оторвалась от стенки, где она молча простояла всё это время, и выскользнула из комнаты. В неловком молчании Михаил буркнул:

– Далась тебе эти простыни.

– Здря ты, Люся, здря при ей говореть стала, – покачала головой старуха. – Она тут не виноватая. Она сколь раз ко мне вязалась. А мне всё неохота было шевелиться. И неохота, и боюсь.

– Но ведь я ей ничего и не говорила.

– Дак оно и не ей, а всё равно ей. Кому ишо? Она за мной ходит, не Михаил.

Варвара вздохнула:

– Ой-ёй-ёшеньки! Прямо не знаю, чё и сказать.

– Не знаешь – молчи, – хмыкнул Илья. – Гляди, беда какая!

– А я тебе ничё и не говорю.

– Я тебе тоже.

Чтобы замять неприятный разговор, старуха спросила:

– Я тут покуль без памяти была, Мирониха не приходила поглядеть на меня?

– Нет как будто, – ответил Михаил.

– Прибежит. Как услышит, что я оклемалась, прибежит, расскажет мне чё-нить. Не знаю, как бы я без её век свой доживала. А с ей поговорю, и веселей. Прибежит, это она прибежит, – кивала старуха. – Скажет: «Тебя, девка, пошто смерть-то не берёт?» Как была насмешница, так и осталась. Погляди, сени у ей полые, нет? Тут в окошко видать.

Варвара поднялась, навалилась на подоконник.

– Нет, вроде на заложке.

– Убежала куда-нить. На месте-то никак и не сидится, всё бы бегала. А пускай побегаёт, покуль ноги носят. Ишо належится. Я бы сичас за ей тоже побежала, дак куды... отбегалась.

– Мать, – перебил старуху Илья, подмигивая Михаилу. – Мать, ты не будешь возражать, если мы с Михаилом за твоё выздоровление немножко выпьем?

– Ну, мужики, ну, мужики, – встрепенулась Варвара. – Вы без этого прямо жить не можете.

– Не можем – ага, – согласился Илья, широко улыбаясь.

– Да пейте, когда уж вам так охота, – позволила старуха. – Только чтоб не здесь, не возле меня. Мне его на дух не надо.

– Это – пожалуйста, мы может и уйти. Мы ведь, мать, за тебя. Чтобы ты больше не хворала – ага.

– Да пейте хошь за нечистую силу. Ей это боле поглянется.

– Ну, ты тоже скажешь: за нечистую силу...

– За её и есть. И чё оне в ём находят, какую сласть? Да меня озолоти, я в рот не возьму. А оне ишо и деньги на его переводят. Ну? Будто когда бы я сказала: не пейте, то вы бы и послушались... Куды там. Раз уж надумали, пейте, только чтоб не сильно допьяна. Тебя я выпимши не знаю, какой ты есть, а Михаил у нас ой нехороший. Эта бедная Надя от его, от пьяного, рада не знай куды убежать.

Повеселевший Михаил без обиды отговорился:

– Ты, мать, всех собак теперь на меня навесишь.

– А я никогда ничё здря не говорю.

– Да нет, мать, мы немножко. Только так, для аппетита.

– На Надю я пожалиться не могу, – продолжала старуха, когда мужики ушли. Она смотрела на Люсю, будто говорила ей одной. – От он мне сын родной, а она невестка, а я никому не скажу, что она мне чё плохое сделала. За мной ходить тоже ить терпение надо иметь. Она ни одного разу на меня голос не подняла. Если не было, чё я буду здря на человека наговаривать. И попить подаст, и в грелку воды нальёт. Я ить, когда холод, грелкой этой только и живу, у меня кровь совсем остудилась – что есть она, что нету, название одно.

– Укрываться надо лучше, – со знанием дела посоветовала Варвара.

– Куды ишо укрываться, когда Надя на меня и так все тряпки постаскивает, пошевелиться нельзя. Тяжесть лежит, а ноги дрогнут. Вот я и кричу Надю или Нинку за ей пошлю. Она придёт, нагреет воды – будто легче. А без Нади я давно бы уж пропала – чё тут говорить. Он трезвый-то – человек, рази уркнет когда, а как пьяный напьётся – ой, никакого житья нету. И ко мне вяжется, и к ей. Хошь на край света убегай от его.

– Как это вяжется? – насторожилась Люся.

– Как... А так. Вот зачнет он с её вино это требовать, а сам уж на ногах койни-как стоит. Вынь да положь ему. Где она его возьмёт, на какие шиши? Гонит её в магазин, и всё: «Ты там работаешь, тебе дадут». Дак она, подимте, там только убирается, она к вину этому и близко не подходит. Сам бы маленько подумал. Нет, ему хошь кол на голове теша, он своё. А попробуй я его заворотить, он на меня, да с таким злом: «Ты, мать, лежишь и лежи, помалкивай». Я и молчу. Я его, пьяного, не дай бог, бояться стала. Ну. Я и Нинку к себе беру спать, когда он там крылит.

– Вот оно что, – сдержанно отозвалась Люся.

– Прямо ни стыда, ни совести у человека, – возмутилась Варвара, оглядываясь на дверь. – К родной матушке так относиться – это совсем обнаглеть надо!

– А то придёт, вот так же сядет: «Давай, мать, поговорим». Об чём я с им, с пьяным, буду говорить, когда у его голова не держится. «А, ты со мной не хочешь разговаривать? Я тебя кормлю, пою, а ты поговореть со мной брезгуешь?» Да я пошто брезгую-то? Приди ты, когда в уме, и разговаривай, а не так. Ну. Пристанет – ой-ёй-ёй!

– Я поговорю с ним, – пообещала Люся. – Я с ним поговорю – не обрадуется. Что это в самом деле такое?! «Пою, кормлю...» Этого ещё не хватало.

– Ты только с им с пьяным не займовайся, не надо. Он ить понять не поймет, а обозлится. Нехороший пьяный, нехороший, никто не похвалит. А потом проспится, опять ничё. Когда бы не это вино, совсем другой бы человек был. Вино-то и губит.

– Пить не надо, – сказала Варвара.

Старуха покивала на её слова, вздохнула:

– Дак а кто говорит, что надо? Тепери уж тот золотой человек, кто и пьёт, да ума не теряет. А совсем непьющего на руках надо носить и людям за деньги показывать: глядите, какая чуда. Нашему-то только на язык бы попало, он потом как худая бочка: сколь ни лей, всё мало.

– Не знала я, не знала, что Михаил у нас до этого докатился, – не переставала удивляться Люся.

– Докатился, докатился, – поддакнула Варвара. – Матушка наша врать не будет.

– Я пошто врать-то буду? – обиделась старуха. – Какая мне нужда на сына на родного напраслину вам наговаривать?

– Я и говорю: матушка врать не будет.

– А вот терпеть матушка почему-то терпит, – в тон ей отрезала Люся. – Он над ней издевается, как может, а она его же ещё и защищает. «Проспится – опять ничё», – передразнила она. – Вот и жди теперь, когда он проспится. Дождёшься. Дождёшься, что из дому выгонит.

– Он меня не выгонял – чё здря говореть.

– Не выгонял, так выгонит, если будешь ему каждый раз спускать. До этого немного уж осталось.

– У нас никто в родове мать из дому не гнал.

– У вас никто в родове к матери, наверное, так и не относился, как твой сын.

– Никто, никто, – согласилась Варвара. – Сколько я на свете живу – никто. Он один.

– Вы от сердитесь, – помолчав, тихонько начала старуха. – Сердитесь, а пожилы бы со мной. Это ить чистое наказание – рази я не понимаю? То одно мне принеси, то другое, а то кашель возмёт – белого свету не взвижу: кахы да кахы. На двор сама выдти не могу. Куды ишо чище? Мне давно уж помереть надо, хватит и самой мучиться, и людей мучить, да от задержалась. Вперед смерти не помрёшь. Он трезвый-то терпит, ничё не говорит, а у пьяного, известно, власти над собой нету. Меня сперва обида возмёт, а потом раздумаюсь про себя: чё уж тут обижаться, на кого? Терпи, когда из годов выжила. Бог терпел и нам велел. – Теперь старуха опять говорила легче, упоминание о Боге успокоило её. Она свободно вздохнула и попросила: – Не надо ему ничё говореть. Пускай. Мне тоже охота помереть с миром, чтоб никто меня злом не поминал. Тогда и смерть лёгкая будет. Ну. А как вы думаете? И промеж собой не надо из-за меня ругаться, мне же от этого и хуже. Я помру, а вам ишо жить да жить. И видеться будете, в гости друг к дружке приезжать. Не чужие, подимте, от одного отца-матери. Только почаще в гости-то ездите, не забывайте брат сестру, сестра брата. И сюда тоже навевывайтесь, здесь весь ваш род. И я тут буду, никуда отсюль не стронусь. Посидите надо мной, а я вам какой-нить знак дам, что чую вас, каку-нить птичку пошлю сказать.

Тихонько вошла в комнату Надя и, боясь помешать, остановилась у дверей, за старухиной кроватью. Надю увидели, обернулись к ней, тогда она прошла к столу и села, опустив на колени тяжёлые после работы руки. Она менялась сразу: на работе горит, а как сядет – и не слышать, будто уснёт с открытыми глазами, которые караулят, когда надо снова подниматься и бежать.

– Убралась, ли чё ли? – спросила старуха, принимая Надю для разговора.

– Убралась. Корову потом выгоню, и всё.

– Мужиков не видала?

– В бане они.

– Только бы не напились.

– При гостях, может, утерпит.

– Дак он не один. Гость-то там при ём.

Надя наконец сказала, зачем пришла:

– Ужинать здесь будем или на кухне? У меня уж все готово.

– Садитесь здесь, – отозвалась старуха. – Чё я одна останусь. Ишо належусь одна, успею.

– Тогда я свет включу.

– Дак включай, кто тебе не велит. В потёмках какая еда?

– Мужиков звать надо, нет ли?

– Они у тебя рази нечистым духом сытые? – не насмешничая, ответила старуха. – Боле нечем. Вино, подимте, не сильно накормит. Крикни им, а будут не будут, пускай сами скажут.

– Я думала, может, потом им.

– А чё ты будешь два застолья делать? И так набегалась за день.

– Давай, Надя, я помогу тебе, – вызвалась Люся, видно, ей всё-таки было неловко перед Надей за историю с простынями, и она хотела хоть чем-нибудь угодить ей.

– Сидите, сидите, я сама управлюсь. Я ещё подогреть хочу, уж, наверно, остыло. Сидите, я скоро.

Люся осталась.

Мужики пришли красные, как распаренные, и от этого больше похожие друг на друга. Сейчас даже посторонний человек сказал бы, что они братья: куда денешь одинаково выпирающие скулы и нахально лезущие на лоб густые, разлохмаченные брови? У того и у другого краснели шеи, у Ильи кровь прилила к голой голове, и от этого голова казалась раскалённой.

Они с шумом уселись за стол; Михаил громко спросил:

– Ну как, мать, у тебя тут дела?

– А что дела? – ответил ему Илья: в бане они привыкли разговаривать друг с другом. – Мать у нас молодец. Обманула свою смерть, и никаких.

– Смерть не омманешь. – Старуха смотрела на них с терпеливой укоризной и сказала не сразу.

– Обманула, мать, обманула, не отказывайся. И правильно сделала. Без тебя некому умирать, что ли? Найдутся – ага. Свет не без добрых людей.

– Вот именно, – хохотнул Михаил.

– А ты, бессовестный, лучше бы помалкивал, – вдруг остановила, как подкараулила, Михаила Варвара.

– Что такое?

– «Ты сидера бы, морчара, будто деро не твоё», – вспомнил Илья детскую скороговорку, ещё ничего не понимая и всё же стараясь обратить в шутку Варварины слова.

– Бесстыжий! – снова пальнула Варвара и повернулась за помощью к Люсе. Люсе пришлось взять разговор на себя:

– Я бы на твоём месте, Михаил, в самом деле лучше молчала. – Она говорила, отделяя одно слово от другого, и смотрела ему прямо в глаза. – То, что ты позволяешь себе с мамой, ни в какие ворота не лезет. Запомни: мы маму в обиду не дадим и не позволим тебе над ней издеваться.

– Да вы что – белены объелись?! Кто над ней издевается?

– Ты. Кто же ещё, кроме тебя? Оказывается, ты слишком много стал пить и пьяный терроризируешь маму.

– Что-что?! Что я с тобой, мать, делаю? Что такое?!

– Люся, Люся, – взмолилась старуха. – Ты пошто такая-то? Я ить тебе говорела, я ить тебя просила. Не ругайтесь вы, пожалейте вы меня.

– Хорошо, мама, сейчас не будем, – отступила Люся. – Но запомни, Михаил, разговор у нас с тобой не закончен.

– А что это такое я там с ней делаю? Не понял я. Как ты сказала?

– Мы с тобой потом об этом поговорим.

– Ты, Михаил, мать не обижай, – сказал Илья. – Мать обижать нельзя.

С Ильей Михаил не стал спорить:

– Это ты правильно говоришь. Мать обижать нельзя. Грех. Я мать никогда не обижаю.

– Мать нам жизнь дала.

– Это ты очень даже правильно говоришь. – Михаил смахнул пьяные слёзы. – Я ведь всё понимаю. Я больше ихнего понимаю. – Он кивнул на сестёр. – Ты думаешь, почему они на меня накинулись? Потому что злятся: я их с места снял, телеграмму отправил, а мать возьми да и не помри. Вроде зря я их вызвал, вроде обманул. Я понима-а-ю.

– Ты хоть думаешь, о чём ты говоришь? Или ты совсем уж ничего не соображаешь? – вскинулась Люся. – Как тебе только не стыдно?!

– Так, Михаил, тоже нельзя, – опять поправил Илья.

– Если нельзя, не буду, – согласился Михаил. – Ты старше меня, я тебя уважать должен.

– Дело не в этом.

– Я понимаю: дело не в этом.

Пришла Надя, стала разливать суп. Всё равно вышло два застолья: сначала поели мужики, и только после них сели Варвара и Люся. Старухе налили в ту же кружку немного бульона. Ели молча.

Мужики ушли, сняв с божницы лампу. Старуха вслед им тяжело вздохнула:

– Неужли у их там ишо есть? Ить это подумать надо. Господи, упаси и помилуй. Чё делают?! Чё делают?!

4

И опять старуха увидала утро.

Она долго лежала с открытыми глазами, дожидаясь света, потому что решила: как только развиднеет, она попытает себя сесть – очень уж на спине и на боках болели незапрятанные кости, но свет куда-то запропастился, как под Рождество, а в темноте старуха шевелиться боялась: не видя, ещё упадёт и не вскрикнет. Наконец окошко, которое было ближе к утру, стало очищаться от темноты, и сквозь него глаза увидали дальше, потом проступило на своём месте и второе окошко, и с двух сторон в комнату потекли ранние и холодные, прежде солнца, сумерки.

Старуха подождала, пока света наберётся больше, и, не выпуская из вида Люсю – спит ли, подтянулась ближе к изголовью, чуть отдохнула и, осторожно подталкивая руками, сняла ноги на пол. Голова у старухи закружилась, и она уцепилась руками за кровать, чтобы, не дай Бог, не кувыркнуться вперёд, и удержалась, сама удивляясь себе, покивала: надо же, кто бы мог подумать – вроде и сидеть не на чем, одни кости, а усидела. На ноги старуха натянула одеяло, чтобы не видно было, какие они худые.

То, что ей удалось посадить себя, обрадовало старуху. По спине, по рукам, по ногам, приятно ноя, опускалась накопившаяся за долгое лежание и чуть совсем не закаменевшая немота. Глазам так легко было смотреть, они глядели прямо перед собой, и их не надо было закатывать вверх: за вчерашний день глаза у старухи чуть не оторвались – до того она их надёргала туда-сюда. Скоро она почувствовала, что босым ногам на полу стало холодно, и опустила под них край одеяла – вот и ноги совсем не омертвели, кровь до них ещё достаёт.

Солнце по утрам не попадало в избу, но, когда оно взошло, старуха узнала и без окошек: воздух вокруг неё заходил, заиграл, будто на него что дохнуло со стороны. Она подняла глаза и увидела, что, как лесенки, перекинутые через небо, по которым можно ступать только босиком, поверху бьют суматошные от радости, ещё не нашедшие землю солнечные лучи. От них старухе сразу сделалось теплее, и она прошептала:

– Господи...

Старуха слышала, как загудела корова, но не стала кричать Надю: пускай привыкает подниматься сама, а она всё равно не жилец на этом свете. Да и Люсю, если кричать, недолго разбудить; Люся в своём городе приучилась спать по утрам, ну и пускай спит, ей подниматься некуда. Она сидела и слушала, как одевается Надя, потом туда и обратно взвизгнула дверь, и опять всё стихло, но старуха знала, что теперь изба – как поставленная на печку посудина с варевом, которое вот-вот заходит-заговорит.

И верно, кто-то зашлёпал – Нинка. На улицу она сейчас, конечно, не пойдёт, а горшок здесь, у старухи под кроватью. Старуха выгнулась и сильным шёпотом позвала Нинку. Та сонно присеменила, с закрытыми глазами опросталась и полезла на старухину кровать – так бывало и раньше, Нинка любила по утрам прибегать к бабушке, но сейчас старуха готова была плакать, что ещё одна радость, которая выпадала ей в жизни, не оставила её. Нинка всё же помнила, где она, потому что сквозь сон пробормотала:

– Вот ты умрёшь, я всегда буду здесь спать.

– И спи, и спи, – счастливо шептала старуха, подтыкая под неё одеяло. – Здесь тебе возле печки теплей будет, а то и правда – скоро зима. Здесь ты, как у Христа за пазухой, сберегёшься и горюшка знать не будешь. Ой ты, холёшенькая ты моя! Как большая, всё понимает.

Изба после Нинки опять примолкла, но на улице чем дальше, тем становилось звонче, и старуха прислушалась, узнавая, чья ревьёт скотина и кто из хозяек сегодня залежался. Она ждала, когда подаст голос Миронихина корова, после этого, натужась, можно будет услышать и Мирониху: та вечно, как доить, лихоматом кричит на неё. Что это за корова, если она не

стоит на месте, охота Миронихе ездить за ней со своим сиденьем по двору да надрывать голос? Долго ли обменять на другую? Или уж она сама не может без этого?

Нет, ни Мирониху, ни её корову было не слышать, будто они враз, та и другая, не дождалась сегодняшнего дня. А ну как правда? Где же бы она вчера выдюжила, не пришла? Одна живёт, никто не досмотрит. Старуха тянула голову, чтобы увидеть Миронихину дверь, но глаза доставали только до крыши, а оторвать себя от кровати она боялась и со вздохом осаживала обратно.

Пялясь на улицу, старуха пропустила, когда вошла Варвара, и вздрогнула от её голоса.

– Сидишь, чё ли? – не ждала Варвара.

Испуг у старухи прошёл, она похвалилась:

– Дак видишь, сидю.

– А тебе сидеть-то можно ли?

– У кого я буду спрашивать, можно ли, нельзя? Сяла и сидю. – Старуха обиделась, что Варвара не понимает, что для неё значит сидеть.

– Смотри не упади.

– Не присбирывай. Я пошто упаду-то? Упасть дак я бы без тебя давно упала, а то сидю.

– Это тебя Нинка, поди, с кровати-то согнала?

– Никто меня не сгонял, не говори здря. Я ишо до её сяла.

Глаза у Варвары со сна смотрели плохо, волосы на голове скатались. Зевая, она сказала:

– Чё-то во сне видала, а чё, заспала, не помню. Чё-то нехорошее.

– Как знаешь, что нехорошее, когда не помнишь?

– Проснулась – и нехорошо так стало. Я скорей сюда, думаю, не с тобой ли чё.

– Нет покуль. – Старуха забеспокоилась: – Ты соберёшься, сходи к Миронихе. Сходи. Не с ей ли чё доспелось? Одна ить, как перст. Помрёт и будет лежать, глазами посверкивать.

– С чего она помрёт-то?

– Ишо не лучше! С чего, говорит. С чего помирают? С радости ли, чё ли? Она бегучая-то бегучая, а до ста годов тоже бегать не будет. И корова у ей седни не кричала. Я уж надсадилась слушать – нету. В те раза она всю деревню на ноги подымет, покуль до дому дойдёт, а седни как пропала. Я бы, когда могла, сама поглядела бы, дак куды...

– Налажусь, схожу.

– Сходи, сходи. Она ить мне не чужая, мы всю жисть друг от дружки никуды. То я к ей, то она к мне. У меня об ей сердце тоже болит.

Люся проснулась, наверное, раньше, ещё при Варваре, но зашевелилась и открыла глаза, только когда Варвара ушла.

– Разбудили мы тебя со своим разговором, – виновато сказала старуха. – Охота, дак спи, я молчком буду. И им накажу, чтобы тихонько ходили.

– Я выпалась. – У Люси даже с ночи лицо было гладкое, без морщин и опухлости. – Я сегодня хорошо спала.

– Ничё во сне не видала?

– Нет.

– А Варваре, говорит, чё-то нехорошее являлось, а чё, не помнит. Я уж ей сказала, чтоб она к Миронихе ходила – а ну как сон про её? А тут Таньчоры всё нету, нету. Я уж боюсь про её и думать.

– Приедет, не волнуйся. Сегодня должна обязательно приехать.

– Дак и вчерась вы мне так же говорили, а где она? Я всю ночь глаз не сомкнула. Думаю: ну как все уснут, а Таньчора приедет и зачнёт стучать. Лежу и слушаю, лежу и слушаю. С вечеру-то народ ходил, было кого слушать. Потом Михаил наш прибуковил. От уж он покряхтел, от уж покряхтел, покуль укладывался, будто кто его давит. Дак это и не он, это вино в ём кряхтело, видать, немаленько же оне его вечер выпили. Ну, угомонился, слава те Господи. Опеть я одна.

Никто не стукнет, не брякнет, лежу и сама себя слушаю. Ночь сильно длинная мне показалась, с целый год. Об чём я только не передумала! И с мамкой со своей поговорела, сказала, что вскорости буду. И про Таньчору Богу помолилась, чтоб пропустил он её к мне, когда видал где. Только бы она сёдни приехала, а то ить я могу и не дожждаться. Я уж по себе вижу, что я не своей жистью живу, что это Бог мне заради вас добавки дал, а у ей, подимте, тоже конец есть. Как нету – есть, есть.

До этого Люся слушала в постели, как только старуха заговорила о добавке, стала подниматься. Старуха рада была, что не надо молчать, за ночь она намолчалась.

– Я уж не чаяла утра дожждаться – ночь и ночь. Думаю, моить, оне одна за другой тепери без дня идут, а я ничё не знаю. Дак нет, люди-то спят, не просыпаются. А я как есть вся измучилась. Оно хошь спать и неохота, отоспалась, а глаза всё одно закрываются. Привыкли, подимте, по ночам закрываться – какой с их спрос? Я не даю им, боюсь: а ну как усну и боле не проснусь? Сон, он смерти свой. Потом слышу: петухи поют, досветки сьмают. Ну, дождалась. Светать стало, давай я усаживаться, а то уж никакого спасу не было: кости-то у меня наголе, я ить их до дыр пролежала.

– Сегодня села, завтра встанешь, – убирая после себя постель, терпеливо сказала Люся. – Встанешь и пойдёшь. И не будешь больше говорить, что ты чужой жизнью живёшь.

– Чужой и есть, – повторила своё старуха.

Люся не стала спорить, убрала раскладушку и, оглаживая себя, остановилась у окна. День начинался с охотой, воздух был в солнце и веселил простор над деревней, не скрадывая, показывал его весь, до самого конца. Река искрилась, лес за рекой, поднимающийся по горе вверх, казался ближе, но его не по времени яркую зелень притушило солнцем. Повсюду было тихое, спокойное сияние, и только в деревне одиноко чернели тени, но их, словно боясь запнуться, обходили даже собаки.

И не понять, не разгадать было, отчего вчера наваливался туман, а сегодня так тихо, никаких помех. Люся вспомнила вчерашний разговор о рыжиках и решила, что сегодня самое подходящее время, чтобы идти в лес. Только бы всё хорошо было с матерью.

Люсю оторвала от окна Варвара, ещё с порога она закричала – будто принесла бог знает какую радость:

– Вспомнила, матушка, вспомнила!

– Чё вспомнила?

– Да сон-то. Сон-то и правда нехороший. Я тебе сразу сказала, нехороший сон – так оно и есть. Я как знала.

– Ну-ну? – заторопила старуха.

– Вот будто сидим мы, бабы, кругом, а бабы все какие-то незнакомые, ни одной не знаю. Вот будто сидим мы и лепим пельмени. И как ты думаешь, чё мы в начинку-то в них кладём?

– Откуда я знаю – чё ты меня спрашиваешь?

– Грязь.

– Чё кладете?

– Грязь. Под ногами у нас грязь, мы её вместо мяса и берём. И такие будто радые, что у нас пельмени-то с грязью будут. Прямо смеёмся от радости. А я ещё и говорю: «Вы, бабы, почему плохую-то грязь берёте, какие у нас так пельмени выйдут? Никакого навару. Вот здесь у меня грязь пожирней, её берите». Они и стали у меня брать. Как вспомню, так меня прямо всю дрожью обдаёт.

– А дальше-то чё-нить было, нет?

– Нет, больше ничё не помню. А пельмени как сейчас вижу: такие на противне лежат белые да аккуратные, прямо один к одному. Нехороший сон, я сразу сказала, что нехороший. – Варвара испуганно качала головой, спрашивала: – К чему бы это? Вот беда-то! Я бы знала, я бы спать не ложилась, чтоб мне не видать его.

– Ты свои сны лучше бы при себе держала, – посоветовала ей Люся.

– Если я его видала, как я должна говорить, что не видала?

– Ну и ела бы свои пельмени сама. Неужели ты не понимаешь, что маме не до них? Она и так выдумывает, будто какой-то чужой жизнью живёт, а тут ещё ты со своими снами. Такая чуткость, что просто с ума сойти можно.

Люся рассерженно вышла, дверь после неё до конца не закрылась и, противно поскрипывая, стала отходить.

– Притвори её, – попросила старуха, но Варвара не поняла, жалуясь, забормотала:

– Чё ни скажи, всё не так, всё не так. Ой-ёшеньки! Кругом Варвара виноватая, одна Варвара. Теперь уж у неё и во сне смотреть нету права. А я как от них буду закрываться, если я сплю, а они сами мне в глаза лезут. Я их не зову. Мне чё, теперь и не спать совсем?

– А ты не всё слушай, чё тебе говорят.

– Как я буду не слушать, когда она при мне это говорит? Я, поди, не глухая. Она говорит, я и слушаю.

– Ох, Варвара ты, Варвара! В кого ты у нас такая простуша, – пожалела её старуха и, вспомнив, перебила себя: – Я тебе сказала, к Миронихе-то сходить, ты ходила к ей, нет?

– Нет ещё.

– Дак ты пошто не сходишь-то?

– Счас пойду.

– Сходи, Варвара, сходи. Она у меня с самого утра из ума нейдёт. Не доспелось ли с ей чё? Тут тебе через дорогу недолго перебежать. Когда живая она, скажи, что старуня заказывала. Я ить её уж сколь не видала. – Варвара пошлёпала к выходу, и старуха крикнула ей вдогонку: – Дверь-то притвори мне, а то с улицы ишь как тянет. Я себе ноги-то застудю.

С непривычки она уже устала сидеть, но Нинка развалилась как раз посреди кровати, и старухе приходилось терпеть. А трогать Нинку жалко. Пересиливая ломоту в спине, старуха согнулась и подобрала руки к животу – теперь спина была сверху и вроде притихла. Старуха немножко отдохнула, но долго сидеть так, скрючившись в три погибели, она посчитала тоже опасным – недолго было и нырнуть – и опять разогнулась, расправляя спину, покачалась на месте и вздохнула.

В окошко забарабанили, Вавара с улицы прокричала:

– Матушка, слышь, матушка, нету твоей Миронихи дома, – крикнула в окно Варвара. – Надя говорит, утром она на нижний край убежала.

– Ну-ну, – поняла старуха и, помолчав, сказала себе: – Опеть куды-то и ухлестала. Ой, в кого она только такая бегучая?

– Ты сидишь? – спросила Варвара.

– Сидю, сидю.

Заворочался в той комнате Михаил, кряхтя и спотыкаясь, проволока себя в сени, забренчал там ковшиком. Дверь, конечно, не прикрыл, будто он один в избе живёт, никого больше нету. Старуха поохала, но не захотела кричать Михаилу, осторожно нагнувшись, стала заворачивать в одеяло свои ноги. Но холод всё равно доставал и студил их. Для других это, может, и не холод, а для старухи он самый.

Она сжалась, примолкла.

– Землю во сне видать – это, однако, и не к худу совсем, – неуверенно сказала потом она и огляделась.

День уже целиком вышел на люди, пошёл свободней, быстрее.

5

Михаил выпил полный ковшик воды и отдышался. Пока вода лилась через горло, он ещё чувствовал её прохладную, свежую силу, теперь опять стала подниматься тошнота. Михаил дёрнулся, и вода бесполезно булькнула в животе, уже и не вода, а помои. Он подумал, не попить ли ещё, и не стал пить – всё равно никакого толку, только лишняя тяжесть да лишняя беготня потом, и, придерживая себя руками, выбрался на крыльцо. Ему были противны сейчас и солнце, и начинающееся тепло – в дождь или в ветер всё-таки легче, хоть что-то теребит и отвлекает со стороны, а в такой сухомытине поправишься, конечно, не скоро. Он был в майке и босиком, но даже не отличил улицы от избы, всё казалось одинаково пресно и мутно.

Чтобы не стоять, Михаил опустился на ступеньку и сразу поднялся: слабые, угарные мысли о вчерашнем всё-таки донесли ему воспоминание о водке, которая ждала в кладовке. Удивительно, до этого он почему-то ни разу не подумал о ней – скорей всего, по привычке: у него никогда не бывало столько выпивки сразу, да и вообще уже давным-давно ни капли не оставалось на утро. Он ещё постоял, помедлил; он-то знал точно, что вчера они с Ильёй и в самом деле притащили целый ящик водки и за один присест при всём желании не могли выпить её полностью, и всё-таки сам же не поверил себе: ну да, расскажи кому-нибудь другому... В кладовке, дверь в которую была тут же, в сенях, он осторожно приподнял в углу хламьё и счастливо сморщился – в полутьме кладовки особым, упругим блеском снизу ударили закупоренные бутылки. Только три гнезда в ящике были разорены, остальное сохранилось не хуже, чем в магазине.

Надо же, всю ночь простояла, и ничего. Михаил достал ещё одну бутылку и, торопясь, сунул её себе в карман штанов.

Он сел отдохнуть на то же самое место, откуда перед тем поднялся. Тошнота не прошла – нет, до этого было далеко, но тело от знакомого и желанного обещания заметно взбодрилось. Чует ведь, ещё как чует! Теперь можно было немножко и посидеть, похитрить над похмельем – вроде и маешься от него, жить не можешь, а сам знаешь, что скоро ему придёт конец. Оттого и не боишься посмотреть, что это был за зверь, что понимаешь своё близкое освобождение. Такая уж у человека натура. Вот так же хорошо почувствовать себя до смерти усталым, и ведь не когда-нибудь, а именно перед сном, когда можно об этом и не вспоминать. Тоже хитрость. Какая-никакая, а хитрость.

Он бы ещё посидел, подразнил в себе похмелье, но услышал с огорода голос Нади и решил, что ему незачем встречаться с ней. Успеется. Что она может ему сказать, он знал и без того. Хотел ещё зайти в избу, чтобы обуться, но представил, как неловко будет обуваться с бутылкой в кармане, к тому же потом легче лёгкого натолкнуться на Надю или на кого-нибудь из сестёр, и не пошёл, так, босиком, и направился туда, куда держал путь с самого начала, – в баню, к Илье.

Илья как ни в чём не бывало спал. Никаких ему забот, никаких страданий, будто он до поздней ночи молотил. Михаил присел перед ним на низенькую чурку, притащенную вчера с улицы, и сунул бутылку за курятник. Здесь же, в бане, стоял и курятник, в котором зимой держали куриц и который по надобности служил вместо стола. Вот и вчера выпивали за ним, и ничего, не жаловались. Две бутылки до сих пор стояли на виду, третья каким-то чудом залезла в курятник, хотя дверца была закрыта, и валялась там на боку. Тоже ничего хорошего не скажешь про эту бутылку – если кто зайдёт, всякое может подумать. Не курицы же её выпили.

Михаил хотел достать бутылку, но надо было подниматься, перешагивать через Илью, и он плюнул: раз пустая, пускай лежит, потом поднимется сама.

– Илья! – позвал он. Это было сегодня его первое слово и без пробы оно вышло нечисто, с хрипом. Вот до чего запеклось всё внутри, что и слова не выговоришь. Откашлявшись, Михаил поправил голос: – Слышь, Илья!

Илья прислушался во сне, дыхание его переменялось.

– Вставай, хватит тебе спать.

– Рано же ещё, – не открывая глаз и не двигаясь, буркнул Илья. Стоило только промолчать или замешкаться со словами, и он бы опять уснул, потому что до конца не проснулся и не хотел просыпаться, хватался за свой сон, будто мальчишка, которого вечером не уложишь, утром не подынешь.

– Какой там рано! День уж.

– Чего это вам не спится? Вчера Варвара подняла, сегодня ты. Легли чёрт знает когда.

– Как ты? – не слушая его, спросил Михаил.

– Не знаю ещё. Вроде живой, – открыл всё-таки глаза Илья.

– А меня будто через мясорубку пропустили. Не пойму, где руки, где ноги. Кое-как сюда приполз. И то с отдыхом.

– Перестарались вчера – ага.

– Я утром ещё не очухался, а уж вижу: всё, хана. И ведь лежать не могу. А поднимешься – упасть охота. Ты вот спишь, тебе ничего. Я не-ет!

– Мне наутро спать надо – ага. Всё подчистую могу переспать, будто ничего и не было. Это уж точно. Только не тревожь меня.

– Ишь как! – позавидовал Михаил. – Организм, что ли, другой? Родные братья – вроде не должно бы.

– Ей всё равно: братья – не братья.

– Но. Это нам ещё повезло, что мы с тобой белую пили. А с той совсем бы перепачкались, я бы сегодня не поднялся. Не поднялся бы, как пить дать не поднялся. Я уж себя знаю.

– Мне с красной тоже хуже.

– Покупная, холера, болезнь.

– Что?

– Покупная, говорю, болезнь. – Михаил показал на голову. – Деньги плочены.

– Это точно.

– Я ещё лет пять назад ни холеры не понимал. Что пил, что не пил, наутро встал и пошёл. А теперь спать ложишься, когда в памяти, и уж заранее боишься: как завтра подниматься? Пьёшь её, заразу, стаканьями, а выходит она по капле. И то пока всего себя на десять рядов не выжмешь – не человек. Плюнешь и думаешь: всё, может, меньше её там останется, хоть сколько да выплонул. Всю жизнь вот так маешься.

– Это анекдот есть такой, – вспомнил Илья. – Мать отправляет свою дочь отца искать – ага. «Иди, – говорит, – в забегаловку, опять он, такой-сякой, наверно, там». Он, понятное дело, там, где ему ещё быть? Дочь к нему: «Пойдём, папка, домой, мамка велела». Он послушал её и стакан с водкой ей в руки: «Пей!» Она отказывается, я, мол, не пью, не хочу. «Пей, кому говорят!» Дочь из стакана только отхлебнула и закашлялась, руками замахала, посинела: «Ой, какая она горькая!» Тут он ей и говорит: «А вы что с матерью, растуды вас туды, думаете, что я здесь мёд пью?»

– Но, – засмеялся Михаил. – Они думают, мы мёд пьём. Думают, нам это такая уж радость.

– Не слышал этот анекдот?

– Нет, не слышал. Очень даже правильный анекдот. Жизненный. – Михаил помолчал, задумчиво покивал всему, о чём говорилось, и решил, что больше тянуть нечего. – Так что, Илья, – сказал он и достал из-за курятника бутылку. – Поправиться, однако, надо.

– Ты уж притащил. – Голос у Ильи дрогнул так, что не понять было, испугался он или обрадовался.

– Шёл мимо и зашёл. Чтобы потом не бегать.
– А может, лучше пока не будем? Подождём?
– Ты как знаешь, а я выпью. А то я до вечера не дотяну. И так уж едва дышу. Придётся вам тогда меня вместо матери хоронить.
– Как там мать-то?
– Не знаю, Илья, не скажу. Не заходил. Ничего, наверно, а то бы бабы прибежали, сказали.
– Это точно, сказали бы.
– Ну как – наливать, нет? – раскупорил Михаил бутылку.
– Наливай – ладно. За компанию.
– И правильно.
– Закусить-то совсем нечем?
– Нечем. Если хочешь, сходи, а я сейчас не пойду. Ну их! Они думают, мы здесь мёд пьём.
– Мне-то неловко там шариться.
– А что ты – чужой человек, что ли? Возьмёшь, что надо, и обратно.
– Ладно, давай так. Сойдёт.
– Сойдёт, конечно. И пить – помирать, и не пить – помирать, уж лучше пить да помирать, – как молитву, прочитал Михаил и выпил, с затаённым вниманием подождал, пока водка найдёт своё место, и только тогда осторожно опустил стакан на курятник. – Они думают, мы тут мёд пьём, – прыгающим, перехваченным голосом повторил он опять слова, которые всё больше и больше грели его душу.

Илья сидел на постели, сморщившись, наблюдал за Михаилом.

– Ну как? – поинтересовался он.

– Пошла, холера. Куда она денется? Пей, не тяни, а то потом поперёк горла встанет, не протолкнёшь. Её для первого раза завсегда надо на испуг брать.

Выпил наконец и Илья. Выпил и опять замахал перед ртом ладонью, как машут на прощанье. Такая у него выказалась привычка. Вчера она забавляла Михаила, и он сам раза два или три за компанию с братом помахал ей вслед, чтобы не было потом никаких обид, но ничего интересного в этом для себя не нашёл. Кроме того, взяла верх своя привычка – пить первым, а после неё он уже забывал о всяких там провожаньях, хотя для Ильи, быть может, это значило совсем другое. Михаил не спрашивал, да и как об этом станешь спрашивать?

Баня, если осмотреться, больше походила на кухню, и не только из-за курятника. Она и была ненастоящая; настоящая, которая стояла в огороде, сгорела три года назад. После этого Михаил на время приспособил под баню крайний амбар. Полка, где парятся, в ней не было, вместо каменки топили железную печку и грели на ней воду – не баня, а одно название. Но ничего, обходились, а париться Михаил напрашивался к соседу Ивану. Ставить новую баню он так и не собрался, да и то – шуточное ли дело одному? Зато на банном пепелище картошка вот уже три лета подряд вымахивает такая крупная, что не налюбишься. Во всей деревне картошка только-только горохом берётся, а Надя на этом месте уже подкапывает для еды. Правду говорят: нет добра без худа, а худа без добра.

Михаил сидел возле окошка и заранее увидел, что к ним, в баню, как танк, прямым ходом направляется Варвара. Ругнувшись, он убрал с глаз бутылку. Варвара перевалилась через порог и прищурилась – после улицы ей показалось в бане совсем темно, хотя света здесь было вдосталь, только он не блестел на солнце и не слепил, а светил со спокойной и медленной силой.

– Это ты, чё ли? – вглядывалась Варвара в Михаила.

– Нет, не я. Исус Христос.

– Да ну тебя! Откуда я знаю, здесь ты или не здесь. Я думала, Илья один. Пришла ему сказать, что матушка-то у нас уж сидит.

– Сидит?

– Сидит, сидит. Я заглянула и глазам своим не поверила. Она сидит, смотрит. Ноги вниз опустила...

– Голову наверху держит?

– Ты, Илья, не подсмеивайся, не надо, – упрекнула Варвара. – Про матушку нашу нельзя так говорить. Она нам матушка, не кто-нибудь.

– С чего ты взяла, что я подсмеиваюсь?

– Пойдите сами поглядите. Сидит. Кто бы мог подумать? – Варваре очень хотелось, чтобы и братья тоже увидели сейчас мать и обрадовались, и она повторила: – Вот пойдите, пойдите поглядите, как матушка сидит. А то потом скажете, что Варвара придумала.

– А что глядеть, пускай сидит, – отговорился Михаил. – Сильно-то надоедать ей не надо. Смотрите только, чтобы она там у вас не упала.

– Нет-нет, она хорошо сидит.

– Мы потом, попозже придём, – пообещал Илья.

Варвара внимательно осмотрелась и, не найдя, что сказать, уже развернулась уходить, но Михаил задержал:

– Там Надя дома, нет?

– Дома. Все дома. И Люся, и матушка наша дома.

– И матушка, говоришь, дома?

– Да ну вас! – поняла Варвара. – С вами только свяжись. Пойду я.

– Иди, иди. Карауль там мать, а то она куда-нибудь убежит, искать потом надо.

Варвара с опаской соступила с предамбарника – он был высокий, а на землю перед ним никто почему-то не догадается хоть какой-нибудь чурбан подложить – и приостановилась, решая, куда теперь пойти. Радости после разговора с братьями в ней убавилось немного, и она не давала ей покоя. Вот если бы братья пошли к матери, тогда другое дело: она бы тоже пошла, чтобы своими глазами увидеть, как они удивляются матери, которая ещё вчера кое-как лежала, а за сегодняшнее утро уже приспособила себя сидеть – ну совсем как здоровый человек. Но братья остались в бане, далась им эта баня, будто она дороже родной матери, и Варвара теперь не знала, что делать. Она вспомнила свой сон с пельменями и вовсе забеспокоилась. Нехороший сон, ой нехороший. У кого бы спросить о нём, кто может знать? С Люсей не поговоришь – вон как она буркнула на Варвару, а Надя вся в делах, ей некогда. Варвара сдвинулась с того места, на котором стояла, и остановилась на другом, потопталась, растерянно оглядываясь по сторонам, и только после этого решила выбраться за ворота – там люди.

Едва успела Варвара переступить через порог, Михаил, не медля, выставил опять на курятник свою бутылку и даже пристукнул ей, чтобы почувствовать момент. С той поры, как он пришёл сюда, он заметно повеселел, лицо у него загустело, глаза ожили.

– Так что, Илья, – приготовился он. – Вроде дело на поправку пошло. Самое время добавить. Как бы не опоздать, а то потом догоняй не догонишь.

– Я без закуски больше не могу, – отказался Илья. – Хоть бы корку какую-нибудь для заняуха – ага, и то ладно. А так – это гиблое дело. Раз, два – и готовы. Никакого интереса.

– Может, луковицу в огороде сорвать?

– Луковица нас с тобой не спасёт. Это точно. Тут даже соли нету.

– С закуской оно, конечно, надёжней, – согласился Михаил и тоскливо помолчал. – Подождём – что ж делать! Идти сейчас туда мне совсем неохота. Начнётся опять. Вот Надя выглянет куда-нибудь, я сбегаяю.

– Ты, если хочешь, выпей.

– Подожду, куда торопиться. Я один не уважаю её пить. Она тогда, холера, злее. С ней один на один лучше не связываться, я уж её изучил.

– С ней, говорят, вообще лучше не связываться.

– Дак говорят, Илья, говорят, я тоже слышал. Люди много чего говорят, успевай только слушать. Конечно, кто не пьёт, то уж и не надо, доживай так, а кто с этим делом связался, аппетит поимел – не знаю... – Михаил долго качал головой. – Не знаю, Илья, не знаю. Всё равно потянет – я так считаю. Большая в ней, холере, сила, попробуй справишься. Надорваться можно. Я так и не надеюсь уж. Молодым сколько раз зарекался, потом перестал – чего себя и людей смешить. И нечего стараться. Оно, конечно, пить тоже надо уметь, как в любом деле. Мы ведь её пьём, пока не напьёмся, будто это вода.

– Пить надо уметь – это точно.

– Ты-то часто пьёшь?

– Я на машине, мне часто нельзя. В городе с этим строго – ага. И баба у меня с ней никак не контактит. Но уж если где без бабы да без машины, обязательно зальюсь. До самой пробки.

Михаил покосился на бутылку, спросил:

– Может, выпьешь всё-таки? Потом побольше закусишь.

– Нет, не могу. Ты пей, не смотри на меня.

– Я, однако, маленько приму, а то уж подсасывать стало. – Он и правда плеснул в стакан немножко и, не останавливая руку, сразу опрокинул в себя, будто торопился запить какую-нибудь гадость. – Ну вот, – шумно выдохнув, сказал он. – Так-то оно легче. Как говорят, пей перед ухой, за ухой и поминаючи уху. Пей, значит, не робей.

– Ухи сейчас бы неплохо – ага.

– А всё почему пьём? – не сбился Михаил и покивал себе, подождал, не скажет ли что Илья. Илья молчал. – Вот говорят, с горя, с того, с другого. Не-ет. Это всё дело десятое. Говорят, по привычке, а привычка, мол, вторая натура. Правильно, привыкли, как к хлебу привыкли, без которого за стол не садятся, а только и это не всё, для этой привычки тоже надо иметь причину. Я так считаю: пьём потому, что теперь такая необходимость появилась – пить. Раньше что было первым делом? Хлеб, вода, соль. А теперь сюда же ещё и она, холера, добавилась. – Михаил кивнул на бутылку. – Жизнь теперь совсем другая, всё, посчитай, переменялось, а они, эти изменения, у человека добавки потребовали. Мы сильно устаём, и не так, я скажу тебе, от работы, как чёрт знает от чего. Я вот неделю прожил и уж кое-как ноги таскаю, мне тяжело. А выпил и будто в бане помылся, сто пудов с себя сбросил. Знаю, что виноват кругом на двадцать рядов: дома с бабой поругался, последние деньги спустил, на работе прогулов наделал, по деревне ходил попрошайничал – стыдно, глаз не поднять. А с другой стороны, легче. С одной стороны, хуже, с другой – лучше. Идёшь опять работать, грех замаливать. День работаешь, второй, пятый, за троих упираешься, и силы откуда-то берутся. Ну, вроде успокоилось, стыд помаленьку проходит, жить можно. Только не пей. С одной стороны, теперь легче, а с другой – всё труднее и труднее, всё подпирает тебя и подпирает. – Михаил махнул рукой. – И опять забурился. Не вытерпел. Всё пошло сначала. Устал, значит. Организм отдыха потребовал. Это не я пью, это он пьёт. Ему она вместе с хлебом понадобилась, потому что в нём такая потребность заговорила. Как ты считаешь?

– Потребность – это точно, – согласился Илья. – Пьём сразу по способности и по потребности. Сколько войдёт.

– А как не пить? – продолжал Михаил. – День, второй, пускай даже неделю – оно ещё можно. А если совсем, до самой смерти не выпить? Подумай только. Сплошь одно и то же. Ведь столько верёвок нас держит и на работе, и дома, что не охнуть, столько ты должен был сделать и не сделал, всё должен, должен, должен... А выпил – и уж ни холеры не должен, всё сделал, что надо. И так тебе хорошо бывает, а кто откажется от того, чтобы хорошо было, какой дурак? Выпивка – она ведь вначале всегда как праздник. Опять же надо меру знать...

– Если бы меру знать, половины того, что она с нами творит, не было бы.

– Оно, конечно, не было бы. С другой стороны, скажи мне сейчас, мол, хватит, остановись – разве я остановлюсь? Хотя оно, может, и правда хватит: вроде полегчало, теперь, ясное

дело, на другой бок пойдёт. А всё равно мне ещё надо, такая у меня натура. Она пока своё не возьмёт, её лучше не удерживай. Она не любит выгадывать, делать только наполовину, ей всё надо до отвала, всласть. И работать, и пить. Сам знаешь.

– Сколько у тебя в месяц выходит?

– Чего в месяц? Вина, что ли?

Илья засмеялся:

– Вино ты без бухгалтерии пьёшь, я знаю. Я спрашиваю, какой у тебя заработок – ага, сколько ты денег в месяц получаешь?

– Зарботок... Когда как, Илья. Зарботки теперь, если хочешь знать, не те. Механизаторы у нас ещё зарабатывают, а мы, кто на своих ногах ходит, нас попрдержали. Мне против старого, вот как в первые годы было, почти вполонину только начисляют. Раньше две-три баржи нагрузил и можешь спокойно в потолок поплёвывать. Правда, и работали. Ох, работали, не то что сейчас. На руках эти бревешки-то катали. Теперь что, теперь краны. Подцепил – отцепил, смотри только, чтоб не придавило. И везде так, кругом машины заместо людей, техника.

– Легче с ней, с техникой-то.

– Легче, конечно, кто спорит. Далеко легче. Не надрываемся. – Михаил ненадолго задумался и вдруг с чувством сказал: – А всё-таки тогда как-то интересней было. Взять те же баржи. Любил я эту погрузку, и даже не из-за денег, хоть и деньги там были тоже немаленькие, а из-за самой работы. По двое суток с берега не уходили. Пока не нагрузим, все там. Еду нам ребяташки в котелочках принесут, поели – и опять. Азарт какой-то был, пошёл и пошёл, давай и давай. Откуда что и бралось?! Вроде как чувствовали работу, за живую её считали, а не так, что лишь бы день оттрубить.

– Тогда ты был помоложе.

– Помоложе-то помоложе... А вот вспомни, как в колхозе жили. Я говорю не о том, сколько получали. Другой раз совсем ни холеры не приходилось. Я говорю, что дружно жили, всё вместе переносили – и плохое, и хорошее. Правда, что колхоз. А теперь каждый по себе. Что ты хочешь: свои уехали, чужие понаехали. Я теперь в родной деревне многих не знаю, кто они такие есть. Вроде и сам чужой стал, в незнакомую местность переселился.

Скрипнула дверь в избе, и Михаил вскинул голову. Вышла Нинка – не Надя. Оглянулась – никого нет, покружила вокруг поленицы и моментом юркнула за неё. Михаил подождал, пока Нинка сделает своё дело, и высунулся в дверь:

– Нинка, иди-ка сюда.

– Заче-ем? – испугалась девчонка. Она никак не ожидала, что за ней могут следить из бани.

– Иди-иди, голубушка, тут всё узнаешь.

– Я больше не бу-у-ду.

– Иди, тебе говорят, пока я тебе не всыпал.

Озираясь, Нинка бочком влезла в баню, заранее запыхтела.

– Тебе сколько можно говорить, чтоб ты место знала? Ноги у тебя отваяются, если ты добежишь куда надо?

– Я больше не бу-у-ду.

– Не бу-у-ду. Только одно и заучила. Мне с тобой уж надоело разговаривать. Вот сейчас возьму и выпорю, чтоб помнила. А дядя Илья посмотрит, понравится это тебе или нет. Я знаю: у тебя одно место давно уж чешется. Уважить его надо, почесать, раз такое дело.

Нинка запыхтела сильнее.

– Ну, что молчишь?

– Я тогда мамке скажу, что ты здесь вино пьёшь, – быстрым говорком предупредила Нинка и прицелилась на дверь, готовясь дать стрекача.

– Я вот те скажу! – взвился Михаил. – Я те так скажу, что и мамку свою не узнаешь! Тебя для того, что ли, научили говорить, чтоб ты родного отца закладывала? Мамке она скажет. Вот вша какая! – пожаловался он Илье. – От горшка два вершка, а туда же. Ты погляди на неё.

– Тогда не дерись.

– Никто с тобой не дерётся – помалкивай. Хотя оно, конечно, следовало всыпать на память за такие фокусы.

– Ладно, отпусти ты девчонку, – пожалел Нинку Илья. – Она больше не будет.

– Будешь, нет?

– Не буду, – проворно пообещала Нинка и выпрямила голову, глазёнки сразу забегали по сторонам, схватывая всё, что она не успела заметить.

– Ишь, шустрая какая. «Не буду» – и дело с концом, и отделалась. Ты как тот петух: прокукарекал, а там хоть не рассветай. Так, что ли? погоди, не торопись. Успеешь, не на пожар. Я бы тебя выпорол, да вот дядя Илья не хочет. А за это ты нам с дядей Ильёй должна принести что-нибудь закусить. Поняла?

– Поняла.

– Ни холеры ты не поняла.

– Я мамке скажу, она даст.

– Опять двадцать пять. Опять она мамке скажет. Да ты без мамки-то не можешь, что ли? Забудь ты про неё. Совсем забудь. Ты нам так принеси, чтоб мамка твоя не видала и не слыхала. Теперь поняла?

– Теперь поняла.

– Посмотри там на столе или в кладовке и потихоньку принеси. А я тебе потом за это бутылку дам. – Михаил отставил в сторону пустую бутылку.

– Да-а, – наострилась Нинка. – Ты дашь, а сам же и отберёшь.

– Не отберу, не отберу. Беги.

– А тогда отобрал.

– Тогда отобрал, а сейчас не буду. Сейчас у меня свои есть. Вот дядя Илья свидетель, что не отберу.

– Я свидетель, – хлопнул себя по груди Илья.

Нинка стояла.

– Ну, что тебе? Беги скорее.

– Мне две надо, – Нинка метнула быстрый взгляд на вторую пустую бутылку.

– Две дам, только беги Христа ради. – Михаил присоединил к первой бутылке вторую.

Нинка принесла под платишком булку хлеба, больше ничего, потому что от стола, возле которого она делала круги, мать её турнула, а с булкой дело обстояло проще, она лежала в сених, где Надя оставила её до завтрака.

Хлеб – это, конечно, лучше, чем совсем ничего, но одного хлеба было всё-таки мало-вато для утренней выпивки. Тут Михаил вовремя вспомнил, что как раз над головой, на бане, несутся две или три курицы. Нинка полезла и принесла пять яиц вместе с подкладышем, который лежал там, наверно, с весны и который Михаил по своей привычке глотать все залпом и не смотреть, что глотает, умудрился всё-таки после водки проглотить. Хоть и не на чистый желудок, а всё равно у него глаза полезли на лоб и стало всего выворачивать, так что пришлось эту закуску запивать опять водкой, чтобы промыть горло. Долго он ещё плевался и матерился и яйца больше пить не стал, ломал один хлеб.

За яйца Нинке отдали третью бутылку, которая валялась в курятнике, а за то, что сбегала за солью, пришлось пообещать и четвёртую, ещё недопитую. Карауля её, девчонка не шла из бани. Показываться в избе ей не имело никакого интереса ещё и потому, что даже здесь было слышно, как Надя ищет хлеб, который будто корова языком слизнула. Нинка спокойно помалкивала и чистыми, невинными глазёнками посматривала на мужиков, с которыми она

чувствовала себя в полной безопасности. Теперь судьба крепко связала её с ними, и Михаил мог быть спокоен, Нинка не выдаст. Скоро ей опростали и эту бутылку, и она потащила её прятать туда же, за поленницу. Потом поокочивалась в ограде и, как обычно, кругами стала приближаться к избе. Видно, захотела есть.

После водки разговор у мужиков пошёл опять бодрее. Только один раз и помялись, ослабли, это когда Илья захотел оправдаться, что ли, перед кем-то за сверхурочную выпивку и сказал:

– А что делать? Возле матери нам находиться, я считаю, больше незачем – ага. Сам видишь, она уже села. Того и гляди, побежит.

– Это она может, – мотнул головой Михаил.

– Скажи всё же, а! Ни за что бы не подумал. Готовенькая ведь лежала, ничего будто не осталось, а вот что-то подействовало. Ну, мать! Ну, мать!

– Мать у нас ещё та фокусница.

– Правда, что смерть свою перехитрила.

– А я тебе так скажу, Илья. Зря она это. Лучше бы она сейчас померла. И нам лучше, и ей тоже. Я это тебе только говорю – чего уж мы будем друг перед дружкой таиться? Всё равно ведь помрёт. А сейчас самое время: все собрались, приготовились. Раз уж собралась, ну и надо было это дело до конца довести, а не вводить нас в заблуждение. А то я ей поверил, вы мне поверили – вот и пошло.

– Что уж ты так? – возразил Илья. – Пусть умрёт, когда умрётся. Это не от неё зависит.

– Я говорю, как было бы лучше, я про момент. Оно, конечно, требовать с неё не будешь, чтоб сегодня духу твоего здесь не было – и никаких. Это дело такое. А вот вы уедете, она маленько ещё побудет и всё равно отмается. Помяни моё слово. Не зря у неё это было, зря такая холера не бывает. Я вам опять должен телеграммы отбивать, а у вас уж нет того настроения. Кто, может, придет, а кто так обойдётся. И выйдет всё в десять раз хуже. Перед смертью так и так не надышишься.

– Как же не приехать?

– Всякое может быть. Вон Татьяна и теперь не едет.

– Татьяна – ага. Она как знала, не торопится.

– В том-то и дело, что не знала и не торопится. Если она и сегодня ещё не придет, мать с ума сойдёт. Она и так-то надоела нам со своей Таньчорой: то во сне её увидит, то ещё как. Ты не живёшь тут, не знаешь.

– Приедет. Получить такую телеграмму и не приехать, я не знаю, как это называется.

– Ну, если придет, выпьем. Встретить надо как полагается. Сестра.

– Выпьем – ага, куда денемся?

– А и не придет, всё равно выпьем, – нашёлся Михаил. – Всё равно выпьем, Илья. У нас с тобой положение безвыходное.

– А что теперь делать? – с задумчивой весёлостью поддержал его Илья. – Выливать теперь не будешь.

– Дак а кто нам с тобой позволит её выливать? Это дело такое.

– Теперь хочешь не хочешь, надо пить.

– Как ты интересно говоришь, Илья. «Не хочешь». Так вопрос ставить тоже нельзя. Выпьем – почему же не хочешь? Раз надо – выпьем, – настаивал Михаил. – Можем мы взять на себя такое обязательство? Мы с тобой не каждый день видимся.

– Можем. Почему не можем?

– Это дело другое.

И разговор повернулся опять близкой обоим, согласной и заманчивой стороной. Он, конечно, раззадорил мужиков. Потребовалось снова выпить – тем более что выпивка была рядом, хоть залейся, и за неё наперёд заплатили. Под тем предлогом, что ему надо обуться,

Михаил взялся сделать новую вылазку в кладовку. Он ушёл, сверкая голыми пятками, а Илья тем временем скатал постель, на которой он, не поднимаясь, елозил всё утро, промялся до двора.

До сапог до своих Михаил в этот раз так и не добрался. Сначала он почему-то зашёл в кладовку. Зашёл – и в глазах потемнело: почти половина ящика была бессовестно разграблена. До сапог ли тут было? Михаил подхватил полегчавший ящик и кинулся обратно: пока оставалось что спасать, надо было спасать, через минуту могло не остаться и этого.

В бане он долго отводил душу – матерился. Ясно как день, что бутылки перепрятали свои, но от этого не легче было вызволить их обратно. Не тот сейчас выходил случай, чтобы можно было приставать с ножом к горлу: отдавайте, и всё. Водку вчера брали по другой причине и брали на общие деньги. Конечно, у мужиков на неё прав больше, на то они и мужики, но это только у трезвых есть права, а у пьяных они вечно под сомнением. Так что приходилось делать вид, будто ничего не произошло, все на своих местах, и оглядеться, выждать удобный момент.

Они только распочали новую бутылку, как явилась заплаканная Нинка и с порога заявила:

– Мамка нехорошая.

– Твою мамку повесить мало, – отозвался ещё не остывший от злости Михаил.

– Давай, папка, повесим её и поглядим.

– У меня-то бы не заржавело, да сильно много чести ей будет.

– А что она тебе сделала? – спросил у Нинки Илья.

– Да-а. Она говорит, что это я хлеб украла. Сама ничё не видала, а сама говорит, что видала.

– Это она тебя на понт берёт. Не соглашайся, – предупредил Михаил.

– Я и так. Я говорю: спроси хоть у папки, хоть у дяди Ильи.

– А вот это ты зря. На нас не надо было показывать. Понимать должна, что у нас там сейчас никакого авторитета. Без пользы. Тут ты не сообразила.

– Она нехорошая, – набычилась Нинка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.